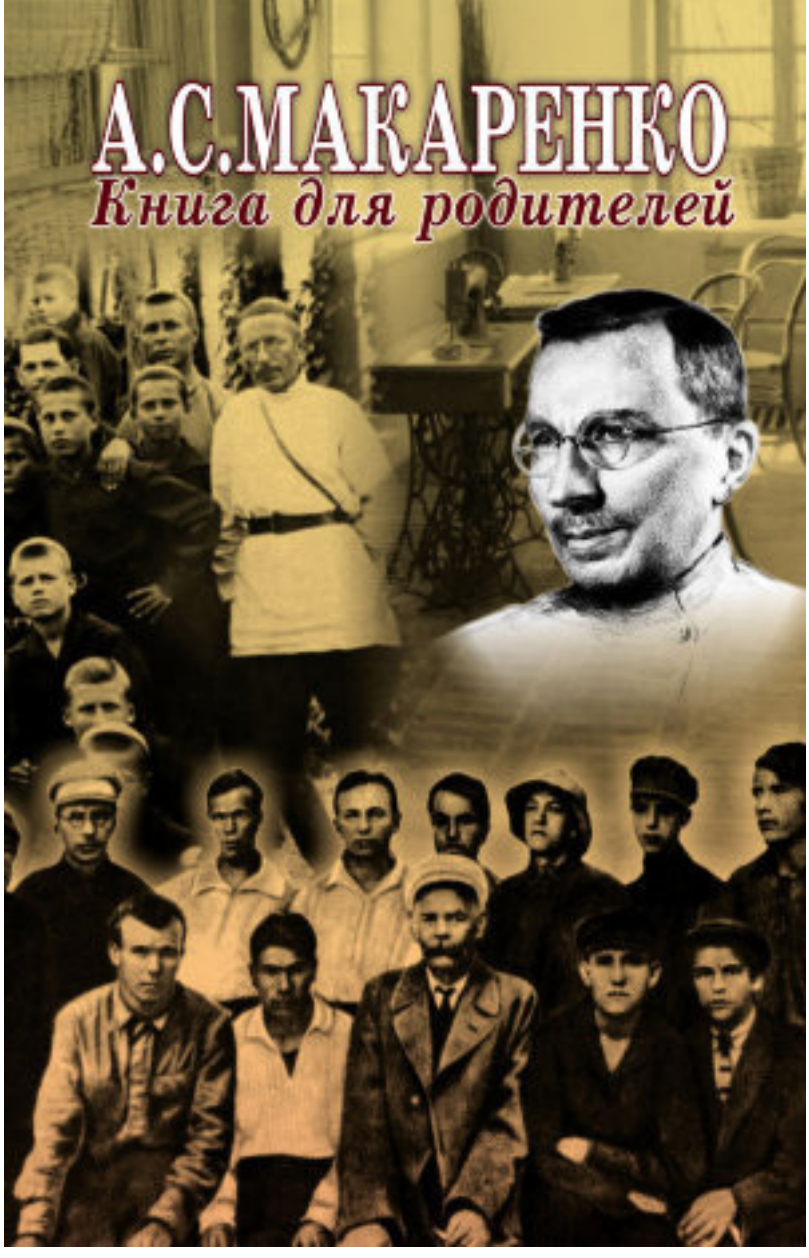


А.С.МАКАРЕНКО

Книга для родителей



Антон Макаренко
Книга для родителей

«ИТРК»

2014

Макаренко А. С.

Книга для родителей / А. С. Макаренко — «ИТРК», 2014

В произведении «Книга для родителей» известного педагога, признанного ЮНЕСКО выдающимся мыслителем мирового уровня, Антона Семеновича Макаренко изложены педагогические воззрения автора, надеявшегося, что «читатель в этой книге найдёт для себя полезные отправные позиции для собственного активного педагогического мышления». Особенностью этого издания являются размещенные в нем в качестве приложения письма личной переписки А.С. Макаренко с женой и приемным сыном, которые, по мысли составителя и главного редактора издательства, убедят читателя в высоком достоинстве личности автора, единстве его теоретических размышлений и реальных благородных человеческих отношений. Изданные ранее в издательстве ИТРК книги А.С. Макаренко: «Педагогическая поэма» (2003 г.), «Педагогические поэмы: Флаги на башнях. Марш 30 года. ФД-1» (2013 г.), вместе с настоящим изданием могут составить полезную библиотечку для воспитания достойных граждан России.

© Макаренко А. С., 2014

© ИТРК, 2014

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	15
Глава третья	28
Глава четвертая	46
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Макаренко Антон Семенович
Книга для родителей
Составитель С.С. Невская

«Книга для родителей» написана мною в сотрудничестве с моей женою Галиной Стахивной Макаренко.

А. Макаренко

© А.С. Макаренко, 2014

© С.С. Невская, составление, 2014

© Издательство ИТРК, 2014

* * *

Глава первая

Может быть, книга эта – дерзость?

Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны, и значит, и историю мира. Могу ли я на свои плечи поднять величественную тяжесть такой необъятной темы? Имею ли я право, посмею ли я разрешить или развязать хотя бы главные ее вопросы?

К счастью, такая дерзость от меня не требуется. Наша революция имеет свои великие книги, но еще больше у нее великих дел. Книги и дела революции – это уже созданная педагогика нового человека. В каждой мысли, в каждом движении, в каждом дыхании нашей жизни звучит слава нового гражданина мира. Разве можно не услышать этого звучания, разве можно не знать, как мы должны воспитывать наших детей?

Но и в нашей жизни есть будни, и в будни рождаются сложные наборы мелочей. В мелочах жизни теряется иногда человек. Наши родители, бывает, в этих мелочах ищут истину, забывая, что у них под руками великая философия революции.

Помочь родителям оглянуться, задуматься, открыть глаза – скромная задача этой книги.

Наша молодежь – это с ни с чем не сравнимое мировое явление, величия и значительности которого мы, пожалуй, и постигнуть не способны. Кто ее родил, кто научил, воспитал, поставил к делу революции? Откуда взялись эти десятки миллионов мастеров, инженеров, летчиков, комбайнеров, командиров, ученых? Неужели это мы, старики, создали эту молодежь? Но когда же? Почему мы этого не заметили? Не мы ли сами ругали наши школы и вузы, походя ругали, скучай, привычно; не мы ли считали наши наркомпросы достойными только ворчания? И семья как будто трещала по всем суставам, и любовь как будто не зефиром дышала у нас, а больше сквозняком прохватывала. И ведь некогда было: строились, боролись, снова строились, да и сейчас строимся, с лесов не слезаем.

А смотрите: в непривычно сказочных просторах краматорских цехов, на бесконечных площадях сталинградского тракторного, в сталинских, макеевских, горловских шахтах, и в первый, и во второй, и в третий день творения, на самолетах, на танках, в подводных лодках, в лабораториях, над микроскопами, над пустынями Арктики, у всех возможных штурвалов, кранов, у входов и выходов – везде десятки миллионов новых, молодых и страшно интересных людей.

Они скромны. Они нередко мало изысканные в беседе, у них иногда топорное остроумие, они не способны понять прелесть Пастернака – это верно.

Но они хозяева жизни, они спокойны и уверены, они, не оглядываясь, без истерики и позы, без бахвальства и без нытья, в темпах, совершенно непредвиденных, – они делают наше дело. А покажите им какое-нибудь такое видение, о которых и мы уже начинаем забывать, ну вот, например: «*Машиностроительный завод Н.А. Пастухова и С-я*», – и вы увидите, какое тонкое остроумие будет обнаружено ими в каждом их движении!

На фоне этого исторического чуда такими дикими кажутся семейные «катастрофы», в которых гибнут отцовские чувства и счастье матерей, в которых ломаются и взрываются характеры будущих людей СССР.

Никаких детских катастроф, никаких неудач, никаких процентов брака, даже выраженных сотыми единицы, у нас быть не должно! И все-таки в некоторых семьях бывает неблагополучно. Редко это катастрофа, иногда это открытый конфликт, еще чаще это конфликт тайный: родители не только не видят его, но не видят и никаких предвестников.

Я получил письмо, написанное матерью:

«Мы имеем одного лишь сына, но лучше бы его не было... Это такое страшное, непередаваемое горе, сделавшее нас раньше времени стариками. Не только тяжело, а и дико смотреть на молодого человека, падающего все глубже и глубже, в то время когда он мог бы быть в числе лучших людей. Ведь сейчас молодость – это счастье, радость!

Он каждый день убивает нас, убивает настойчиво и упорно всем своим поведением, каждым своим поступком».

Вид у отца малопривлекательный: лицо широкое, небритое, однощечное. Отец этот неряшлив: на рукаве какие-то перья, куриные, что ли, одно перо прицепилось к его пальцу, палец жестикулирует над моей чернильницей, и перо с ним.

– Я работник... понимаете, я работаю... вот... и я его учу... Вы спросите его, что он скажет? Ну, что ты скажешь: я тебя учил или нет?

На стуле у стены мальчик лет тринадцати, красивый, черноглазый, серьезный. Он, не отрываясь, смотрит на отца прямо ему в глаза. В лице мальчика я не могу прочесть никаких чувств, никаких выражений, кроме спокойно-пристального, холодного внимания.

Отец размахивает кулаком, наливая кровью перекошенное лицо.

– Единственный, а? Ограбил, оставил вот... в чем стою!..

Кулак его метнулся к стене. Мальчик моргнул глазами и снова холодно-серьезно рассматривал отца.

Отец устало опускается на стул, барабанит пальцами, оглядывается; все это в полном замешательстве. Быстро и мелко дрожит у него верхний мускул щеки и ломается в старом шраме.

Он опускает большую голову и разводит руками:

– Возьмите куда-нибудь... что ж... Не вышло. Возьмите...

Он произносит это подавленным, просительным голосом, но вдруг снова возбуждается, снова подымает кулак.

– Ну, как это можно, как? Я партизан. Меня вот... сабля шкуровская... голову мою... разрубила! Для них, для тебя!

Он поворачивается к сыну и опускает руки в карманы. И говорит с тем глубочайшим пафосом муки, который бывает только в последнем слове человеческом:

– Миша! Как же это можно?! Единственный сын!

Мишины глаза по-прежнему холодны, но губы вдруг тронулись с места, какая-то мгновенная мысль пробежала по ним и скрылась, – ничего нельзя разобрать.

Я вижу: это враги, враги надолго, – может быть, на всю жизнь. На каких-то пустяках сшиблись эти характеры, в каких-то темных углах души разыгрались инстинкты, расходились темпераменты. Нечаянный взрыв – обычный финал неосторожного обращения с характером – этот отец, конечно, взял палку. А сын поднял против отца свободную, гордую голову – недаром ведь отец рубился со шкуровцами! Так было вначале. Сейчас он извивается в беспамятстве, а сын?

Я гляжу на Мишу сурово и тихо говорю:

– Поедешь в коммуну Дзержинского! Сегодня!

Мальчик выпрямился на стуле. В его глазах заиграли целые костры радости, осветили всю комнату, и в комнате стало светлее. Миша ничего не сказал, но откинулся на спинку стула и направил родившуюся улыбку прямо на шкуровский шрам, на замученные очи батька. И только теперь я прочитал в его улыбке неприкрытую, решительную ненависть.

Отец печально опустил голову.

Миша ушел с инспектором, а отец спросил у меня, как у оракула:

– Почему я потерял сына?

Я не ответил. Тогда отец еще спросил:

– Там ему хорошо будет?

Книги, книги, книги до потолка. Дорогие имена на великолепных корешках. Огромный письменный стол. На столе тоже книги, монументальный саркофаг чернильницы, сфинксы, медведи, подсвечники.

В этом кабинете жизнь кипит, книги не только стоят на полках, а и шелестят в руках, газеты не только валяются между диванными подушками, а и распластываются перед глазами: здесь события обсуждаются, живут – в интонациях, украшенных тонким знанием. А между событиями, растворенные в табачном дыме, ходят по кабинету лысины и прически, бритые подбородки, американские усики и янтарные мундштуки, и в рамках роговых оправ смотрят глаза, увлажненные росой остроумия.

В просторной столовой чай подается не богатый, не старомодный самоварный чай, не ради насыщения, а чай утонченный, почти символический, украшенный фарфором, кружевными салфетками и строгим орнаментом аскетического печенья. Чуточку томная, немножко наивная, изысканно-рыженькая хозяйка балованными маникюрными пальчиками дирижирует чаем. К чаю прилетают веселым роем имена артистов и балерин, игриво-проказливые новеллы, легкокрылые жизненные эпизодики. Ну, а если к чаю подадут закуску и улыбающийся хозяин два-три тура сделает с графинчиком, тогда после чая снова переходят в кабинет, снова закурят, придавят на диване газетные листы, подомнут боками подушечки и, откидывая головы, захохочут над последним анекдотом.

Разве это плохо? Кто его знает, но среди этих людей всегда вертится и заглядывает в глаза двенадцатилетний Володя, мальчик худенький и бледный, но энергичный. Когда очередной анекдот почему-либо запаздывает выходом, папа подает Володю, подает в самой миниатюрной порции. В театральной технике это называется «антракт».

Папа привлекает Володю к своим коленям, щекочет в Володином затылке и говорит:

– Володька, ты почему не спишь?

Володя отвечает:

– А ты почему не спишь?

Гости в восторге. Володя опускает глаза на папино колено и улыбается смущенно – гостям так больше нравится.

Папа потрепывает Володю по какому-либо подходящему месту и спрашивает:

– Ты уже прочитал «Гамлета»?»

Володя кивает головой.

– Понравилось?

Володя и в этот момент не теряется, но смущение сейчас не у места:

– А, не очень понравилось! Если он влюблен в... эту... в Офелию, так почему они не женятся? Они волят, а ты читай!

Новый взрыв хохота у гостей. Из угла дивана какой-нибудь уютный бас прибавляет необходимую порцию перца:

– Он, подлец, алиментов платить не хочет!

Теперь и Володя хохочет, смеется и папа, но очередной анекдот уже вышел на сцену:

– А вы знаете, что сказал один поп, когда ему предложили платить алименты?

«Антракт окончен». Володя вообще редко подается в таком программном порядке – папа понимает, что Володя приятен только в малых дозах. Володе такая дозировка не нравится. Он вертится в толпе, переходит от гостя к гостю, назойливо прислоняется даже к незнакомым людям и напряженно ловит момент, когда можно спартизанить: и себя показать, и гостей развеселить, и родителей возвеличить.

За чаем Володя вдруг вплетает в новеллу свой звонкий голос:

– Это его любовница, правда?

Мать воздевает руки и восклицает:

– Вы слышите, что он говорит? Володя, что ты говоришь?!

Но на лице у мамы вместе с некоторой нарочитой оторопелостью написаны и нечаянные восхищение и гордость: эту мальчишескую развязность она принимает за проявление таланта. В общем списке изящных пустяков талант Володи тоже уместен: японские чашки, ножики для лимона, салфеточки и...сын замечательный.

В мелком и глупом тщеславии родители не способны присмотреться к физиономии сына и прочитать на ней первые буквы будущих своих семейных неприятностей. У Володи очень сложное выражение глаз. Он старается сделать их невинными, детскими глазами – это по специальному заказу, для родителей, но в этих же глазах поблескивают искорки наглости и привычной фальши – это для себя.

Какой из него может выйти гражданин?

Дорогие родители!

Вы иногда забываете о том, что в вашей семье растет человек, что этот человек на вашей ответственности.

Пусть вас не утешает, что это не больше, как моральная ответственность.

Может настать момент, вы опустите голову и будете разводить руками в недоумении, и будете лепетать, может быть, для усыпления все той же моральной ответственности:

– Володя был такой замечательный мальчик! Просто все восторгались.

Неужели вы так никогда и не поймете, кто виноват?

Впрочем, катастрофы может и не быть.

Наступает момент, когда родители ощущают первое, тихонькое огорчение. Потом второе. А потом они заметят среди уютных ветвей семейного дерева сочные ядовитые плоды. Расстроенные родители некоторое время покорно вкушают их, печально шепчутся в спальне, но на людях сохраняют достоинство, как будто в их производстве нет никакого прорыва. Ничего трагического нет, плоды созрели, их внешний вид достаточно приятен.

Родители поступают так, как поступают все бракоделы: плоды сдаются обществу как готовая продукция...

Когда в вашей семье появляется первая «детская» неурядица, когда глазами вашего ребенка глянет на вас еще маленькая и слабенькая, но уже враждебная зверушка, почему вы не оглядываетесь назад, почему вы не приступаете к ревизии вашего собственного поведения, почему вы малодушно не спрашиваете себя: был ли я в своей семейной жизни большевиком?

Нет, вы обязательно ищите оправданий...

Человек в очках, с рыженькой бородкой, человек румяный и жизнерадостный, вдруг завертел ложечкой в стакане, отставил стакан в сторону и схватил папиросу:

– Вы, педагоги, все упрекаете: методы, методы! Никто не спорит, методы, но разрешите же, друзья, основной конфликт!

– Какой конфликт?

– Ага! Какой конфликт? Вы даже не знаете? Нет, вы его разрешите!

– Ну, хорошо, давайте разрешу, чего вы волнуетесь?

Он вкусно затянулся, пухлыми губками выстрелил колечко дыма и... улыбнулся устало:

– Ничего вы не разрешите. Конфликт из серии неразрешимых. Если вы скажете, тем пожертвовать или этим пожертвовать, какое же тут разрешение? Отписка! А если ни тем, ни этим нельзя пожертвовать?

– Все же интересно, какой такой конфликт?

Мой собеседник повернулся ко мне боком. Поглядывая на меня сквозь дым папиросы, перекидывая ее в пальцах, оттеняя папиросой мельчайшие нюансы своей печали, он сказал:

– С одной стороны, общественная нагрузка, общественный долг, с другой стороны, долг перед своим ребенком, перед семьей. Общество требует от меня целого рабочего дня: утро, день, вечер – все отдано и распределено. А ребенок? Это же математика: подарить время ребенку – значит сесть дома, отойти от жизни, собственно говоря, сделаться мещанином. Надо же поговорить с ребенком, надо же многое ему разъяснить, надо же воспитывать его, черт возьми!

Он высокомерно потушил в пепельнице недокуренную нервную папиросу.

Я спросил осторожно:

– У вас мальчик?

– Да, в шестом классе – тринадцать лет. Хороший парень и учится, но он уже босяк. Мать для него прислуга. Груб. Я ж его не вижу. И представьте, пришел к нему товарищ, сидят они в соседней комнате, и вдруг слышу: мой Костик ругается. Вы понимаете, не как-нибудь там, а просто кроет матом.

– Вы испугались?

– Позвольте, как это «испугался»? В тринадцать лет он уже все знает, никаких тайн. Я думаю, и анекдоты разные знает, всякую гадость!

– Конечно, знает.

– Вот видите! А где был я? Где был я, отец?

– Вам досадно, что другие люди научили вашего сына ругательным словам и грязным анекдотам, а вы не приняли в этом участия?

– Вы шутите! – закричал мой собеседник. – А шутка не разрешает конфликта!

Он нервно заплатил за чай и убежал.

А я вовсе не шутил. Я просто спрашивал его, а он что-то лепетал в ответ. Он пьет чай в клубе и болтает со мной – это тоже общественная нагрузка. А дай ему время, что он будет делать? Он будет бороться с неприличными анекдотами? Как? Сколько ему было лет, когда он сам начал ругаться? Какая у него программа? Что у него есть, кроме «основного конфликта»? И куда он убежал? Может быть, воспитывать своего сына, а может быть, в другое место, где можно еще поговорить об «основном конфликте»?

«Основной конфликт» – отсутствие времени – наиболее распространенная отговорка родителей-неудачников. Защищенные от ответственности «основным конфликтом», они рисуют в своем воображении целительные разговоры с детьми. Картина благостная: родитель говорит, а ребенок слушает. Говорить речи и поучения собственным детям – задача невероятно трудная. Чтобы такая речь произвела полезное воспитательное действие, требуется счастлирое стечение многих обстоятельств. Надо, прежде всего, чтобы вами выбрана была интересная тема, затем необходимо, чтобы ваша речь отличалась изобретательностью, сопровождалась хорошей мимикой; кроме того, нужно, чтобы ребенок отличался терпением.

С другой стороны, представьте себе, что ваша речь понравилась ребенку. На первый взгляд может показаться, что это хорошо, но на практике иной родитель в таком случае взбеленится. Что это за педагогическая речь, которая имеет целью детскую радость? Хорошо известно, что для радости есть много других путей; «педагогические» речи, напротив, имеют целью огорчить слушателя, допечь его, довести до слез, до нравственного изнеможения.

Дорогие родители!

Не подумайте, пожалуйста, что всякая беседа с ребенком не имеет смысла. Мы предостерегаем вас только от чрезмерных надежд на разговоры.

Как раз те родители, которые плохо воспитывают своих детей, и вообще те люди, которые отличаются полным отсутствием педагогического такта, – все они слишком преувеличивают значение педагогических бесед.

Воспитательную работу они рисуют себе так: воспитатель помещается в некоторой субъективной точке. На расстоянии трех метров находится толчка объективная, в которой укрепля-

ется ребенок. Воспитатель действует голосовыми связками, ребенок воспринимает слуховым аппаратом соответствующие волны. Волны через барабанную перепонку проникают в душу ребенка и в ней укладываются в виде особой педагогической соли.

Иногда эта позиция прямого противостояния субъекта и объекта несколько разнообразится, но расстояние в три метра остается прежним. Ребенок как будто на привязи, кружит вокруг воспитателя и все время подвергается либо действию голосовых связок, либо другим видам непосредственного влияния. Иногда ребенок срывается с привязи и через некоторое время обнаруживается в самой ужасной клоаке жизни. В таком случае воспитатель, отец или мать, протестует дрожащим голосом:

– Отбился от рук! Целый день на улице! Мальчишки! Вы знаете, какие у нас во дворе мальчишки? А кто знает, что они там делают? Там и беспризорные, бывают, наверное...

И голос, и глаза оратора просят: поймите моего сына, освободите его от уличных мальчиков, посадите его снова на педагогическую веревку, позвольте мне продолжать воспитание.

Для такого воспитания, конечно, требуется свободное время, и, конечно, это будет время загубленное. Система бонн и гувернеров, постоянных надсмотрщиков и зудельщиков давно провалилось, не создав в истории ни одной яркой личности. Лучшие, живые дети всегда вырвались из этой системы.

Советский человек не может быть воспитан непосредственным влиянием одной личности, какими бы качествами эта личность не обладала. Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги. Со всем сложнейшим миром окружающей действительности ребенок входит в бесконечное число отношений, каждое из которых неизменно развивается, переплетается с другими отношениями, усложняется физическим и нравственным ростом самого ребенка.

Весь этот «хаос» не поддается как будто никакому учету, тем не менее он создает в каждый данный момент определенные изменения в личности ребенка. Направить это развитие и руководить им – задача воспитателя.

Бессмысленна и безнадежна попытка некоторых родителей извлечь ребенка из-под влияния жизни и подменить социальное воспитание индивидуальной домашней дрессировкой. Все равно это окончится неудачей: либо ребенок вырвется из домашнего застенка, либо вы воспитаете урод.

– Выходит так, что за воспитание ребенка отвечает жизнь. А семья при чем?

– Нет, за воспитание ребенка отвечает семья, или, если хотите, родители. Но педагогика семейного коллектив не может лепить ребенка из ничего. Материалом для будущего человека не может быть ограниченный набор семейных впечатлений или педагогических поучений отцов. Материалом будет советская жизнь во всех ее многообразных проявлениях.

В старое время в зажиточных семьях называли детей «ангельскими душами». В наше время было сказано, что дети – «цветы жизни». Это хорошо. Но скоропалительные в суждениях, сентиментальные люди не дали себе труда задуматься над этими прекрасными словами. Если сказано «цветы», значит, нужно цветами любоваться, ахать, носиться, нюхать, вздыхать. Нужно, пожалуй, самим цветам внушить, что они составляют неприкосновенный, «роскошный» букет.

В этом узкоэстетическом и бессмысленном восторге уже заложено его посрамление. «Цветы жизни» надлежит представлять себе не в виде «роскошного» букета в китайской вазе на вашем столе. Сколько бы вы ни восторгались такими цветами, сколько бы ни ахали, эти цветы уже умирают, они уже обречены и они бесплодны. Завтра вы прикажете их просто выбросить. В лучшем случае, если вы неисправимо сентиментальны, вы засушите их в толстой книге, и после этого ваша радость станет еще более сомнительной: сколько угодно предавайтесь воспоминаниям, сколько угодно смотрите на них, перед вами будет только сено, простое сено!

Нет, наши дети вовсе не такие цветы. Наши дети цветут на живом стволе нашей жизни, это не букет, это прекрасный яблоневый сад. И этот сад – наш, здесь право собственности звучит, честное слово, очаровательно! Трудно, конечно, не любоваться таким садом, трудно ему не радоваться, но еще труднее не работать в таком саду. Будьте добры, займитесь этим делом: вскапывайте, поливайте, снимайте гусеницу, обрезайте сухие веточки. Вспомните слова гениального садовника, товарища Сталина: *«Людей нужно заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбванное плодовое дерево».*

Обратите внимание: плодовое. Не только аромат, не только «гаммы красок» – «плоды, вот что должно вас интересовать в особенной степени. И поэтому не набрасывайтесь на цветы с одними вздохами и поцелуями, возьмите в руки лопату, ножницы, лейку, достаньте лестницу. А когда в вашем саду появится гусеница, возьмите парижскую зелень. Не бойтесь, побрызгайте немножко, пусть даже цветам будет чуточку неприятно. Между прочим, у хорошего садовника гусеница никогда не появится.

Да, давайте будем садовниками. Это блестящее сравнение позволит нам кое-что выяснить в трудном вопросе, кто воспитывает ребенка – родители или жизнь?

Кто выращивает садовое дерево?

Из земли и воздуха оно берет атомы своего тела, солнце дает ему драгоценную силу горения, ветры и бури воспитывают в нем стойкость в борьбе, соседние братья-деревья спасают его от губельного одиночества. И в дереве и вокруг него всегда протекают сложнейшие химические процессы.

Что может измерить садовник в этой кропотливой работе жизни? Не должен ли он бесильно и покорно ожидать, пока созреют плоды, чтобы кощунственной и наглой рукой похитителя сорвать их и сожрать?

Так именно и делают дикари где-нибудь в трущобах Огненной Земли. И так делают многие родители.

Но так не делает настоящий садовник.

Человек давно научился осторожно и нежно прикасаться к природе. Он не творит природу и не уничтожает ее, он только вносит в нее свой математически-могучий корректив; его прикосновение, в сущности, не что иное, как еле заметная перестановка сил. Там подпорка, там разрыхленная земля, там терпеливый зоркий отбор.

Наше воспитание – такой же корректив. И поэтому только и возможно воспитание. Разумно и точно провести ребенка по богатым дорогам жизни, среди ее цветов и сквозь вихри ее бурь, может каждый человек, если он действительно захочет это сделать.

Ничто меня так не возмущает, как панический и отвратительный вопль:

– Уличные мальчики!!

– Вы понимаете, все было хорошо, а потом Сережа подружился с разными мальчиками на нашем дворе...

Эти «разные мальчики» разлагают Сережу. Сережа шляется неизвестно где. Сережа из шкафа взял отрез на брюки и продал. Сережа пришел под утро, и от него пахло водкой. Сережа оскорбил мать.

Только самый безнадежный простак может поверить, что все это сделали «разные мальчики», «уличные мальчики». Сережа – вовсе не новая марка. Это обычный, достаточно надевший стандарт, и выделяется он отнюдь не уличными мальчиками и не «мальчиками на нашем дворе», а ленивыми и бессовестными родителями, выделяется вовсе не молниеносно, а настойчиво и терпеливо, начиная с того времени, когда Сереже было полтора года. Выделяется при помощи очень многих безобразнейших приспособлений: бездумной лени, привольного фантазирования и самодурства, а самое главное – при помощи непростительной безответственности и ничтожного состояния чувства долга.

Сереза и есть в первую очередь «уличный мальчик», но таковым он сделался только в семейном производстве. На вашем дворе, может быть, он действительно встретит таких же, как он, неудачников, они вместе составят обычную стайку ребят, одинаково деморализованных и одинаково «уличных». Но на том же дворе вы найдете десятки детей, для которых семейный коллектив и семейный корректив создали какие-то установки, какие-то традиции, помогающие им осилить уличных мальчиков, не чуждаясь их и не отгораживаясь от жизни семейными стенами.

В успехе семейного воспитания решающим является активное, постоянное, вполне сознательное выполнение родителями их гражданского долга перед советским обществом. Там, где этот долг реально переживается родителями, где он составляет основу ежедневного их самочувствия, там он необходимо направляет и воспитательную работу семьи, и там невозможны никакие провалы и никакие катастрофы.

Но есть, к сожалению, категория родителей, довольно многочисленная, у которых этот закон не действует. Эти люди как будто хорошие граждане, но они страдают либо непоследовательностью мысли, либо слабостью ориентировки, либо малым объемом внимания. И только поэтому чувство долга не включается у них в сферу семейных отношений и, стало быть, в сферу воспитания детей. И только поэтому их постигают более или менее тяжкие неудачи, и только поэтому они сдают обществу сомнительную человеческую продукцию.

Другие поступают честнее. Они говорят искренним голосом:

– Надо уметь воспитывать. Я, может быть, действительно не так делаю. Надо знать, как воспитывать.

В самом деле: все хотят хорошо воспитывать своих детей, но секрет не всем известен. Кто-то им обладает, кто-то пользуется, а вы во тьме ходите, вам никто не открыл тайны.

В таком случае взоры всех обращаются к педагогическим техникам и вузам.

Товарищи родители!

Между нами: среди нашей педагогической братии процент семейных бракоделов несколько не меньше, чем у вас. И наоборот, прекрасные дети вырастают часто у таких родителей, которые не видели ни парадного, ни черного входа в педагогическую науку.

А педагогическая наука очень мало занимается вопросами семейного воспитания. Поэтому даже самые ученые педагоги хотя и хорошо знают, что от чего происходит, но в воспитании собственных детей стараются больше полагаться на здравый смысл и житейскую мудрость. Пожалуй, они чаще других грешат наивной верой в педагогический «секрет».

Я знал одного такого профессора педагогики. Он к своему единственному сыну всегда подходил с книгами в руках и с глубокими психологическими анализами. Как и многие педагоги, он верил, что в природе должен существовать этакий педагогический трюк, после которого все должны пребывать в полном благостном удовлетворении: и воспитатель, и ребенок, и принципы, – тишь и гладь, и божья благодать! Сын за обедом нагрубил матери. Профессор недолго думал и решил воодушевленно:

– Ты, Федя, оскорбил мать, следовательно, ты не дорожишь семейным нашим очагом, ты недостойн находиться за нашим столом. Пожалуйста, с завтрашнего дня я даю тебе ежедневно пять рублей – обедай где хочешь.

Профессор был доволен. По его мнению, он реагировал на грубость сына блестяще. Федя тоже остался доволен. Но трюковый план не был доведен до конца: тишь и гладь получились, но божья благодать выпала.

Профессор ожидал, что через три-четыре дня Федя бросится к нему на шею и скажет:

– Отец! Я был неправ, не лишай меня семейного очага!

Но случилось не так, вернее, не совсем так. Феде очень понравилось посещение ресторанов и кафе. Его смущала только незначительность ассигнованной суммы. Он внес в дело некоторые поправки: порылся в семейном очаге и проявил инициативу. Утром в шкафу не

оказалось профессорских брюк, а вечером сын пришел домой пьяный. Растроганным голосом он изъяснялся в любви к папе и маме, но о возвращении к семейному столу вопроса не подымал. Профессор снял с себя ремешок и размахивал им перед лицом сына в течение нескольких минут.

Через месяц профессор поднял белый флаг и просил принять сына в трудовую колонию. По его словам, Федю испортили разные товарищи:

– Вы знаете, какие бывают дети?

Некоторые родители, узнав об этой истории, обязательно спросят:

– Хорошо! Ну, а все-таки, как же нужно поступать, если сын за обедом нагрубил матери?

Товарищи! Этак, пожалуй, вы меня спросите: как нужно поступить, если утерян кошелек с деньгами? Подумайте хорошенько, и вы сразу найдете ответ: купите себе новый кошелек, заработайте новые деньги и положите их в кошелек.

Если сын оскорбляет мать, никакой фокус не поможет. Это значит, что вы очень плохо воспитывали вашего сына, давно воспитывали плохо, долго. Всю воспитательную работу нужно начинать сначала, нужно многое в вашей семье пересмотреть, о многом подумать и прежде всего самого себя положить под микроскоп. А как поступить немедленно после грубости, нельзя решить вообще – это случай сугубо индивидуальный. Надо знать, что вы за человек и как вы вели себя в семье. Может быть, вы сами были грубы с вашей женой в присутствии сына. Впрочем, если вы оскорбляли вашу жену, когда сына не было дома, – тоже достойно внимания.

Нет, фокусы в семейном воспитании должны быть решительно отброшены. Рост и воспитание детей – это большое, серьезное и страшно ответственное дело, и это дело, конечно, трудное. Отделаться здесь легким трюком нельзя. Если вы родили ребенка – это значит: на много лет вперед вы отдали ему все напряжение вашей мысли, все ваше внимание и всю вашу волю. Вы должны быть не только отцом и шефом ваших детей, вы должны быть еще и организатором вашей собственной жизни, ибо вне вашей деятельности как гражданина, вне вашего самочувствия как личности не может существовать и воспитатель.

Глава вторая

Но что появится нового? Это определится, когда вырастет новое поколение: поколение мужчин, которым никогда в жизни не приходилось покупать женщину за деньги или за другие социальные преимущества, и поколение женщин, которым никогда не приходилось отдаваться мужчине из-за каких-либо других побуждений, кроме подлинной любви, или отказаться отдать любимому мужчине из боязни экономических последствий.

Ф. Энгельс

Когда-то в молодости пригласили меня на каникулах готовить к переэкзаменовке не совсем удачного сынка в одной княжеской семье, проводившей лето в своем имении недалеко от нашего губернского города. Я соблазнился хорошим заработком и возможностью познакомиться с княжеским бытом. На пустынной жаркой станции меня ожидал просторный, длинный и блестящий экипаж – коляска. Пара вороных рысаков и спина кучера тоже поразили мое воображение; я почувствовал даже некоторое благоговение перед царством знати, о котором раньше читал только в книгах.

Потертый мой чемоданчик неприлично прыгал на дне коляски, а на душе распространилось уныние: какого дьявола понесло меня в княжеский мир? У них свои законы, коляски, молчаливые кучера, от которых тоже несет аристократическими предками, такими же предками несет и от лошадей...

Я прожил в имении два месяца, и уныние, зародившееся в дороге, не покидало меня до последнего дня. Только на обратном пути, в той же коляске, тот же потертый чемоданчик прыгал уже весело, и не смущало меня ничто: ни коляска, ни кучер, ни весь необъятно богатый, недостижимо высокий, блестящий княжеский мир.

Мир этот мне не нравился. Сам князь, свиты его величества генерал-майор, «работал» где-то при дворе и в имение не приехал ни разу. Здесь проводили лето высокая, худая, носатая княгиня, двое дочерей-подростков, таких же носатых, и такой же носатый двенадцатилетний кадет, мой, так сказать, воспитанник. Кроме этих лиц, ежедневно в столовой бывало человек до двадцати; я так хорошо и не узнал, кто они такие. Часть этого народа проживала в имении, другие приезжали на два-три дня в гости. Это были соседи, между ними попадались особы титулованные; до этого я и представить себе не мог, что в нашей губернии так много гнездится разной дряни.

Вся эта компания сплошь до одного человека поразила меня своим духовным ничтожеством. До сих пор в своей жизни я никогда не встречал такого собрания бесполезных людей. Может быть, поэтому я был не в состоянии заметить у них какие-либо достоинства.

Глядя на них, я не мог не вспоминать моего отца. Он ежедневно, в течение десятков лет, подымался в пять часов утра, по гудку. Через пятнадцать минут он уже шагает вдоль серых заборов песчаной нашей улицы, и в руках у него всегда красный узелок с завтраком. В шесть часов вечера он приходит с завода пыльный и серьезный и прежде всего выкладывает на табуретку в кухне аккуратно сложенный красный платочек, в котором так давно он носит свой завтрак. Разве могли когда-либо задуматься все эти князья и графы, свиты его величества генерал-майоры, их гости и приживалы над тем, сколько стоит простой ситцевый красный платок, как нужно его беречь, как бережно нужно его стряхивать после завтрака и складывать вчетверо, а потом еще пополам!?

Сейчас я вспоминаю княжескую семью как чудовищную карикатуру: скорее, это было преступное сообщество, компания бездельников, объединившихся вокруг главаря. Я с отвращением наблюдал все детали княжеской жизни: и глупую, пустую, никому не нужную чопор-

ность, и обеденное и ужиное обилие, и хрусталь, и бесконечные ряды вилок и ножей у приборов, и оскорбительные для человека фигуры лакеев.

Я и теперь не понимаю, сколько времени можно жить такой бездеятельной, пресыщенной жизнью и не обратиться в тупое животное? Ну, год, два, ну, пять лет, но не века же?

Но они жили века. Они целыми днями болтали о чьих-то успехах, о каких-то интригах, о женитьбах и смертях, о наградах и ошибочных надеждах, о вкусах и странностях таких же бездельников, как они, о покупках и продажах имений.

Мой воспитанник был умственно отсталый мальчик. Кажется, такими же умственно отсталыми были и его сестры, и мамаша-княгиня. Но не только большое умственное развитие, но и простая арифметика не были для них существенно необходимы. Богатство, титул, принадлежащая им клеточка в придворном мире, давно разработанные, давно омертвевшие бытовые, моральные, эстетические каноны, несложная семейная дрессировка – все это вполне определяло путь будущего князя.

И несмотря на это, истинную сущность их жизни составляло стяжание, неумолчная, постоянная забота о накоплении, самая примитивная, самая некрасивая, отталкивающая жадность, с небольшим успехом прикрываемая этикетом и чопорностью. Им было мало того, что они имели! Где-то строилась железная дорога, где-то составлялась компания фарфоровых заводов, кто-то удачно обернулся с акциями – все их занимало, тревожило, дразнило, всюду их привлекали и пугали возможности и опасности, они страдали от нерешительности и не могли отказаться от этих страданий. И удивительное дело: эта семья даже отказывала себе кое в чем! Княгиня долго и печально толковала о том, что в Париж надо послать письмо с отказом от платьев, потому что деньги нужны князю «для дела», мой же воспитанник так же печально вспоминал, что в прошлом году хотели купить яхту и не купили.

Возвращаясь в свою рабочую семью, я был глубоко убежден, что побывав в мире антиподов, настолько для меня чуждых и отвратительных, что с рабочими миром невозможно никакое сравнение. Мой мир был неизмеримо богаче и ярче. Здесь были действительные создатели человеческой культуры: рабочие, учителя, врачи, инженеры, студенты. Здесь были личности, убеждения, стремления, споры, здесь была борьба. Приятели моего отца, такие же, как он, старые «мастеровые», были умнее, острее и человечнее аристократов. Кум моей семьи, маляр Худяков, пришел в воскресенье к батьку, сел против меня, ехидно скривил щербатый рот и сказал:

– А ты спросил, захочу я их компании? А к чертовой матери! Ты мне дармоеда медом обмажь, деньгами обсыпь, а я с ним рюмки водки не выпью. Я вот приду к Семену Григорьевичу, посидим, посчитаем, туда-сюда; без князей можно жить, а без нас, маляров? Черта пухлого! Какая будет жизнь без маляров? Некрашенная жизнь!

Потом, когда я чуточку поумнел и осмотрелся в жизни, и в особенности после Октября, я понял, что в старое время в семье князей и в семьях наших приятелей было нечто и общее.

Я хорошо помню, как выдавал кум Худяков свою дочку замуж. Дочка была у него хорошая, румяная, и страшно хотелось ей пройти жизнь рядом с молодым слесарем Нестеренко. А старый Худяков сказал ей:

– Кто такой Нестеренко? Слесаришко, на тройниках сидит. Какой у него будет заработок? Седым будет – полтора рубля в день! Брось!

Дочка плакала, а старый Худяков говорил:

– Что ты мне голову слезами морочишь? Единственная дочка, а меня, старика, унижаешь! Какой Нестеренко жених?

Дочка еще поплакала, а все-таки вышла за помощника машиниста Сверчкова.

Худяков говорил моему батьку во время воскресного визита:

– Дурная голова! Нестеренко, и все! У него ус вьется – тоже причина! Сверчков сейчас помощником на пассажирских, через год-два ему паровоз дадут, хотя бы и маневровый, скажем, а все ж таки машинист. Даром я работал? Пятьсот рублей приданого валяются или как?

А в нашем свете машинисты не с каждым маляром водили кампанию. Когда мне было лет семь, я на машинистов глядел как на самую высокую аристократию. Кум Худяков был маляр очень высокой квалификации – каретник, но женитьба Сверчкова на его дочери все же была для жениха явным мезальянсом.

Мой отец не одобрил кума и по этому случаю вообще осудил его политику по отношению к высшим классам.

– Слушай, Василь, – говорил он ему, – не нравится мне, знаешь, что ты все с панями водишься...

– Да где я там водюсь? – смущенно говорил кум и отворачивал жидкую козлиную бородавку от гостеприимной селедки к кустам жасмина за открытым окном.

– Как водишься? Сам ты в прошлое воскресенье с кем рыбу ловил? С этим... с толсто-брюхим... с дорожным мастером! А жена твоя где днюет и ночует? У Новака? А?

Худяков пробовал сыграть на оскорблении:

– У Новака? Моя жена? Днюет и ночует? Ты, Семен Григорьевич, это брось! Жил без панов и проживу без панов. А рыбу ловить, так это охота! Рыбу я могу ловить и с генералом!

Отец хитро кивает на оскорбленного кума:

– Хэ! С генералом! У генерала лодки нет, а у дорожного мастера лодка! И сало в кошелке!

Отец мой правильно укорял кума Худякова, потому что кум действительно с панями водился. В особенности было непрослительно, если его жена и в самом деле заглядывала к Новаку. Дорожный мастер был просто зажиточный человек, а обер-кондуктор Новак был представителем настоящего панства, с которым даже машинисты не равнялись.

В нашем поселке никого не было равного Новаку, разве начальник станции. Но начальник станции брал не столько богатством, сколько холеным лицом, блестящим мундиром и таинственной роскошью казенной квартиры, о числе комнат которой мы, разумеется, не имели никакого понятия.

Новак же был богат. На большом его дворе, отгороженном от остального мира высокими заборами, проходила тоже таинственная для нас жизнь новаковской семьи. Беспорочным кирпичным животом выпирал из этого двора двухэтажный дом. В нижнем его этаже была «торговля бакалейных товаров», тоже принадлежавшая семье Новака. С этой торговлей мы чуточку были знакомы, потому что с раннего детства, по поручению родителей, покупали здесь керосин, подсолнечное масло и махорку для батька. А из остального богатства доступны были нашим взорам только тюлевые занавески на окнах. В слове «тюлевые» заключались для меня абсолютно недоступные нормы роскоши.

Обер-кондуктор Новак, худой человек, с холодной, серой, со всех сторон строго обрезанной бородкой, два раза в неделю проезжал мимо наших ворот на рессорной бричке, и рядом с его блестящими сапогами всегда стоял такой же блестящий коричневый саквояж, в который, по общему мнению, обер-кондуктор складывал деньги, полученные от «зайцев». Пока я был мал, «зайцы» эти тоже представлялись мне таинственными существами, гномами, приносящими счастье.

У Новака были хорошие, аккуратные дети, которыми наши родители кололи нам глаза. Они наряжались в ослепительные гимназические мундиры, потом на их плечах появились вензеля. По нашим улицам они проходили гордые, недоступные, окруженные отпрысками таких же богатых фамилий: поповичами, сыновьями главного бухгалтера, пристава, смотрителя зданий и дорожного мастера.

Несмотря на полную недоступность и таинственность этого панства, именно через него спускались в наши рабочие семьи идеалы и нормы быта, а следовательно, и воспитания, спускались из тех высоких сфер, к которым я случайно прикоснулся во время каникул. От княжеских чертогов до хаты маляра Худякова построена была непрерывная лестница, по которой сходили к нам семейные стили – законы капиталистического общества. Конечно, была не только количественная, но и качественная пропасть между теми и другими – пропасть классовая. Пролетариат жил по другим законам морали и этики, в основе своей глубоко человеческим. Но если носатым княжнам приуготовлены были в наследство титул, имения, бриллианты и мечты о собственной яхте, то и дочь скромного ремесленника Дуня Худякова кое-что получала в наследство: «гардероб», швейную машину, кровать с никелированными шариками и мечта о граммофоне.

Старая семья, в том числе семья ремесленника или мелкого чиновника, по вышеуказанным законам, также была организацией накопления. Конечно, и накопление было разное, и результаты различные. Новак зарабатывал на «зайцах», дорожный мастер на бесконтрольных расчетах с рабочими, а маляр Худяков на пятнадцатичасовом рабочем дне. После завода он красил полы у богачей или золотил чугунных христовов для намогильных памятников. Накопления были необходимы и для учебы детей, и для приданого дочерям, и для «покойной старости», и для придания солидности фамильной фирме. Благодаря семейному накоплению пробивались отдельные удачники в тот социальный слой, где не только не грозила нищета, но где были надежды выйти в «настоящие люди».

Одним из важнейших путей в этом направлении была удачная женитьба. Как и в семьях князей, так и у нас браки редко совершались по любви. У нас, конечно, не было той домостроевской или замоскворецкой закваски, когда молодые женились, не видя друг друга, по самодурному решению отцов. Наши молодые более или менее свободно встречались, знакомились, «гуляли», но звериный закон борьбы за существование действовал почти механически. Материальные соображения при женитьбе были часто решающими. Приданое за дочкой в двести – триста рублей, с одной стороны, было страховкой будущего благополучия, с другой – привлекало солидных женихов. Только самые бедные девушки, выходя замуж, имели возможность руководствоваться такими незначительными аргументами, как красивые глаза, приятный голос, добрая душа и пр. А если девушка была чуть-чуть побогаче, для нее уже трудно было определить, «на кого вин моргае»:

Чи на тії воли,
Чи на ті корови,
Чи на мое біле личко,
Чи на чорні брови.

И очень слабым утешением в таком случае были дальнейшие слова песни:

Воли та корови
Усі поздыхають,
Біле личко, чорні брови
Повік не злиняють.

Женихи как раз прекрасно знали, что в сравнении с волами и коровами «біле личко, чорні брови» являются предметами, ужасно скоро портящимися.

Хозяином в семье был отец. Он управлял материальной борьбой семьи, он руководил ее трудной жизненной интригой, он организовывал накопление, он учитывал копейки, он определял судьбы детей.

Отец! Это центральная фигура истории! Хозяин, начальник, педагог, судья и иногда палач, это он вел семью со ступеньки на ступеньку, это он, собственник, накопитель и деспот, не знавший никаких конституций, кроме божеских, обладал страшной властью, усиленной любовью.

Но у него есть и другое лицо. Это он пронес на своих плечах страшную ответственность за детей, за их нищету, болезни и смерть, за их тягостную жизнь и тягостное вымирание. Эту ответственность десятки веков перекладывали на него хозяева жизни, грабители и насильники, дворяне и рыцари, финансисты, полководцы и заводчики, и он десятками веков нес ее непосильное бремя, усиленное той же любовью, и стонал, страдал и проклинал небо, такое же невинное, как и он, но отказаться от ответственности не мог.

И от этого его власть становилась еще священнее и еще деспотичнее. А хозяева жизни были довольны, что всегда к их услугам эта одиозная фигура ответчика за их преступления, фигура отца, отягченная властью и долгом.

Советская семья не может быть отцовской монархией, так как исчезла старая экономическая семейная динамика. Наши браки не совершаются по материальным соображениям, и наши дети ничего материального существенного не наследуют в семейных границах.

Наша семья – это уже не уединенная группа отцовских владений. Члены нашей семьи от отца до вчера родившегося ребенка – члены социалистического общества. Каждый из них несет на себе честь и достоинство этого высокого звания.

И самое главное: для каждого члена семьи определен и обеспечен в великолепном ассортименте, в государственном масштабе выбор путей и возможностей, и победоносное шествие вперед каждого человека теперь зависит больше от него самого, чем от семейной мобилизации.

Но наша семья не есть случайное соединение членов общества. Семья – это естественный коллектив, и, как все естественное, здоровое, нормальное, она должна только расцвести в социалистическом обществе, освободившись от тех самых проклятий, от которых освобождается и все человечество и отдельная личность.

Семья становится единственной первичной ячейкой общества, тем местом, где реализуется прелесть человеческой жизни, куда приходят отдыхать победные силы человека, где растут и живут дети – главная радость жизни.

Наши родители тоже не безвластны, но эта власть – только отражение общественной власти. Долг нашего отца перед детьми – это особая форма его долга перед обществом. Наше общество как будто говорит родителям:

– Вы по доброй, любовной воли соединились, наслаждаетесь вашими детьми и дальше собираетесь радоваться на них. Это дело ваше личное и вашего личного счастья. Но в этом счастливом процессе у вас родились новые люди. Настанет момент, когда эти люди перестанут служить только для вашей радости, а выступят как самостоятельные члены общества. Для общества совсем не безразлично, что это будут за люди. Передавая вам некоторую толику общественной власти, Советское государство требует от вас правильного воспитания будущего гражданина. Оно в особенности рассчитывает на некоторое обстоятельство, естественно возникающее из вашего союза, – на родительскую любовь.

Если вы желаете родить гражданина и обойтись без родительской любви, то, будьте добры, предупредите общество о том, что вы желаете сделать такую гадость. Люди, воспитанные без родительской любви, – часто искалеченные люди. И так как такая любовь есть у общества к каждому своему члену, как бы он ни был мал, то ваша ответственность за детей всегда может принять реальные формы.

Родительская власть в советском обществе есть власть, основанная не только на общественном полномочии, но и на всей силе общественной морали, требующей от родителей, по крайней мере, чтобы они не были нравственными уродами.

Вот именно с такой властью и с такой любовью входят родители в семейный коллектив как особые ее компоненты, отличные от других компонентов – детей.

Наша семья, как и прежняя, составляет хозяйственную единицу. Но советское семейное хозяйство есть обязательно сумма трудовых заработков. Даже если они очень велики, даже если они превышают нормальные потребности семьи, даже если они накаплиются, это накопление имеет иной характер, чем накопление в семье капиталистического общества.

Обер-кондуктор Новак, когда мобилизованные им силы природы и техники: «зайцы», знакомства, двухэтажные дома и торговля – достигли желательных размеров, оставил обер-кондукторское поприще и купил недалеко от нашего города имение, в котором было пятьдесят десятин. Новак купил имение у общипанного панка Пчелинцева, который после этого пошел работать в той самой службе движения, из которой только что выбыл новый помещик Новак. Потеря Новака в нашей среде была, таким образом, достойно компенсирована, пожалуй, даже с излишком, ибо мы пополнили свои ряды персоной чистых кровей.

Все поэтому были довольны. Недоволен был только сын Новака, сухой и скрипучий студент Коммерческого института. Он говорил:

– Фатер наш на авантюры пустился! Мало ему было хорошей жизни, захотелось с мужиками возиться.

Но так судит «ветренная младость». Старый Новак судил иначе:

– Этому балбесу что? Он нацепил золотые полеты и думает: устроился! А кончит институт, что будет делать? Служить? Я уже наслужился, довольно каждому прыщуху кланяться. А вот он получит от меня тысячи две десятин да крахмальный завод, он тогда разберет, что это получше твоих полетов. Конечно, придется нам пострадать временем – большие деньги требуются. А ему только одно в голову лезет: на парных извозчиках кататься.

Хозяйство нашей семьи строится в совершенно новых условиях общественной экономики и, следовательно, в новых условиях общественной морали. В наших семейных перспективах нет беспросветной нужды, но зато нет крахмальных заводов и благоприобретенных имений. Поэтому проблема семейной экономической политики в Советском государстве выражается в совершенно новых формах. Прежде всего важно, что теперь за семейное благосостояние не может отвечать только отец. Семья, коллектив призваны отвечать за это благосостояние.

Можно представить себе семью и у нас, в которой потребности удовлетворяются с некоторым напряжением, иногда даже большим. Нам приходилось видеть такие семьи, пример некоторых из них может быть для многих весьма поучительным. В следующей главе мы специально остановимся на одной замечательной семье, жизненная борьба которой, несмотря на очень трудные условия, все же оставалась борьбой советского коллектива за лучшую жизнь, ни на минуту не принимая окрасок нищей беспросветности.

Инстинкты накопления, направлявшие старую жизнь, у нас основательно выключены. Трудно даже представить себе, чтобы у кого-нибудь из наших граждан, хотя бы в тайных подвалах души, зашевелилась старая гадина:

– Эх, жаль, нельзя магазинчик завести!

Инстинкт накопления в старом обществе был постоянно действующим регулятором потребления. Накопительская жадность достигала иногда таких степеней, что уже сама себя отрицала. Загребистые руки делались такими длинными, что теряли способность обслуживать собственную глотку, а были годны только для грабежа.

В нашей стране только сумасшедший может отказывать себе на том основании, что он решил сбить капиталчик и пустить его в оборот.

Это очень важное политическое, экономическое и моральное обстоятельство. В нашем этическом каталоге навсегда вычеркнута организованная жадность, составляющая мотивационную основу всего капиталистического общества. От потребительской жадности, которая логически допустима и у нас, она отличается очень сложной картиной психологических и перспективных деталей, ибо включает в себе и стремление к власти, и честолюбие, и гонор, и любовь к раболепству, и ту сложнейшую цепь зависимостей, которая необходимо приходит вместе с широкой властью над множеством людей и множеством предметов.

Это организованная жадность вычеркнута впервые в истории мира Октябрьской революцией, и это коротко отмечено в статье шестой Конституции:

«Земля, ее недра, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть всенародным достоянием».

Эта статья, несмотря на всю ее простую скромность, является основанием новой морали человечества.

Но в нашей Конституции есть десятая статья, в которой сказано:

«Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан, охраняется законом».

В этой статье закреплены права граждан на предметы потребления. Это те права, которые составляют настоящий объект великой борьбы человечества и которые всегда нарушались эксплуатацией человека человеком.

У нас эти права не ограничены законом. Они ограничиваются фактическим состоянием нашего народного богатства, а так как оно растет с каждым днем, то, следовательно, с каждым днем расширяются и потребительские возможности отдельного человека. Наше государство ставит перед собой открытую и ясную цель всеобщего богатства, таким образом, и перед каждой семьей у нас широкая цепь возможностей материальных.

Советский семейный коллектив на основании статьи десяток Конституции является полным хозяином своего семейного имущества, которое имеет исключительно трудовое происхождение. Это хозяйственная арена семейного коллектива становится в значительной мере и ареной педагогической.

Наше общество открыто и сознательно идет к коммунистическому обществу.

У нас моральные требования к человеку должны быть выше среднего уровня человеческого поступка. Мораль требует общего равнения на поведение самое совершенное. Наша мораль уже в настоящее время должна быть моралью коммунистической. Наш моральный кодекс должен идти впереди и нашего хозяйственного уклада и нашего права, отраженного в Конституции, он должен видеть впереди еще более высокие формы общества. В борьбе за коммунизм мы уже сейчас должны воспитывать в себе качества члена коммунистического общества. Только в этом случае мы сохраним ту моральную высоту, которая сейчас так сильно отличает наше общество от всякого другого.

Великий закон коммунизма «от каждого по способности, каждому по потребности» для многих еще представляется практически неуловимым, многие еще не способны представить такой высокий принцип распределения, предполагающий еще невиданные формы честности, справедливости, точности, разума, доверия, чистоты человеческой нравственной личности.

Глубочайший смысл воспитательной работы, и в особенности работы семейного коллектива, заключается в отборе и воспитании человеческих потребностей, в приведении их к той

нравственной высоте, которая возможна только в бесклассовом обществе и которая только и может побуждать человека к борьбе за дальнейшее совершенствование.

Нравственно оправданная потребность – это есть потребность коллективиста, т. е. человека, связанного со своим коллективом единой целью движения, единством борьбы, живым и несомненным ощущением своего долга перед обществом.

Потребность у нас есть родная сестра долга, обязанности, способностей, это проявление интересов не потребителя общественных благ, а деятеля социалистического общества, создателя этих благ.

Пришел ко мне пацан. Лет ему, вероятно, двенадцать, а может, и меньше. Уселся против меня в кресле, потирает ручонкой бортик стола, собирается говорить и волнуется. Голова у него круглая, стриженная, щеки пухленькие, а большие глаза укрыты такой обыкновенной, стандартной слезой. Я вижу белоснежно-чистый воротничок нижней сорочки.

Пацан этот – актер, я таких много видел. На его физиономии хорошо сделано горе, сделано из взятых напрокат, вероятно, в кино, стариковских мимических материалов: брови сдвинуты, нежные мускулы лба сложены в слабосильную складку. Я посмотрел на него внимательно и предложил:

– Ну, что же? Говори, что тебе нужно. Как зовут?

Пацан шикарно вздохнул, еще раз потянул ладошкой по столу, нарочно отвернул в сторону лицо и нарочно замогильным голосом сказал:

– Коля. А что говорить? Жить нечем. И кушать нечего.

– Отца нет?

Коля прибавил слезы в глазах и молча повертел головой.

– А мать?

Он заложил сложенные руки между колен, наклонился немного вперед, поднял глаза к окну и великолепно сыграл:

– Ах, мать! Нечего и говорить! Чего вы хотите, если она служит... на вешалке... в клубе!

Пацан так расстроился, что уже не меняет позы, все смотрит в окно. В глазах перекатывается все та же слеза.

– Та-ак, – сказал я. – Так что тебе нужно?

Он взглядывает на меня и пожимает плечами:

– Что-нибудь нужно сделать. В колонию отправьте.

– В колонию? Нет, ты неходишь. В колонии тебе будет трудно.

Он подпирает голову горестной рукой и задумчиво говорит:

– Как же я буду жить? Что я буду кушать?

– Как это? Ты же у матери?

– Разве можно жить на пять рублей? И одеться же нужно?

Я решил, что пора перейти в наступление:

– Ты другое скажи: почему ты школу бросил?

Я ожидал, что Коля не выдержит моей стремительной атаки, заплачет и растеряется. Ничего подобного. Коля повернул ко мне лицо и деловито удивился:

– Какая может быть школа, если мне кушать нечего?

– Разве ты сегодня не завтракал?

Коля встал с кресла и обнажил шпагу. Он, наконец, понял, что и горестная поза, и неистощимая слеза в глазах не производят на меня должного впечатления. Против таких скептиков, как я, нужно действовать решительно. Коля выпрямился и сказал:

– Чего вы меня допрашиваете? Вы не хотите мне помочь, я пойду в другое место. И нечего про завтрак. Завтракал, завтракал!

– Ах, вот ты какой! – сказал я. – Ты боевой!

– Конечно, боевой, – шепнул Коля, но глаза опустил.

– Ты – нахал, – сказал я медленно, – ты – настоящий нахал!

Коля оживился. В его голосе прорвались, наконец, хорошие мальчишеские нотки. И слезы вдруг как не бывало.

– Вы не верите? Вы не верите? Да? Ну, прямо скажите, что не верите!

– А что же ты думаешь: и скажу. Не верю, и все ты наврал. И есть нечего, и надевать нечего! Совсем умираешь, бедный! С голоду!

– Ну, и не верьте, – небрежно сказал Коля, направляясь к выходу.

– Нет, постой, – остановил я его. Ты тут сидел, врал, сколько времени пропало! Теперь поедем!

– Куда поедем? – испугался Коля.

– К тебе поедем, к матери.

– Вот! Смотри ты! Никуда я не поеду! Чего я поеду?

– Как чего? Домой поедешь.

– Мне совсем не нужно домой. Мало ли чего вам захочется.

Я рассердился на пацана:

– Довольно болтать! Говори адрес! Молчишь? Хорошо: садись и ожидай!

Коля не сказал адреса, но уселся в кресле и затих. Через пять минут он залез в машину и покорно сказал, куда ехать.

Через просторный двор нового рабочего клуба он прошел впереди меня, подавленный и расстроенный, но это уже было детское горе, и поэтому в нем активное участие принимали нос, и щеки, и рукава черной курточки, и другие приспособления для налаживания нервов.

В небольшой чистенькой комнате, в которой были и занавески, и цветы, и украинский пестрый коврик у белой кровати, Коля с места в карьер сел на стул, положил голову на кровать и заревел, что-то приговаривал невнятное и на кого-то обижался, но кепку крепко держал в руке. Мать, молодая, тоже большеглазая и тоже с пухленькими щечками, взяла кепку из его руки и повесила на гвоздик, потом улыбнулась мне:

– Чего он там наделал такого? Вы его привели?

Коля на секунду прекратил рыдания для того, чтобы предупредить возможные с моей стороны каверзы:

– Никто меня не приводил! Я сам его привел! Пристал и пристал: едем и едем! Ну, и говорите, пожалуйста...

Он опять ринулся в мягкую постель, но плакал теперь как-то одной стороной, а другой слушал, о чем мы говорили с матерью.

Мать не волновалась:

– Не знаю, что мне с ним делать. Он не был такой, а как пожил у брата – брат у меня директор совхоза в Черниговской области, так с ним и сделалось. И вы не думайте: он сам не знает, что ему нужно. А научился: ходит и ходит! Научился просить разное... и школу бросил, а ведь в четвертом классе. Учился бы, а он по начальникам ходит, беспокоит. А спросите его, чего ему не хватает? И одет, и обут, и постель хорошая, и кушанье у нас, не скажу, какие разносолы, а никогда голодным не был. У нас можно из клубной столовой брать, да и дома когда на примусе. А конечно, у директора лучше: деревня все-таки и совхоз и в то же время – хозяйство.

Коля перестал плакать, но лежал головой на кровати, а под стулом водил ногой, видно, о чем-то своем думал, переживал возражения на скромные сентенции матери.

Мать удивила меня своим замечательным оптимизмом. Из ее рассказа было ясно, что жить ей с сыном трудно, но у нее все хорошо и всем она довольна.

– Раньше хуже было: девяносто рублей, подумайте! А сейчас сто двадцать, и утро у меня свободное, я то тем, то сем заработаю. И учусь. Через три месяца перехожу в библиотеку, буду получать сто восемьдесят.

Она улыбалась с уверенным покоем в глазах. В ней не было даже маленького напряжения, чего-либо такого, что говорило бы о лихорадочной приподнятости, о неполной уверенности в себе. Это была оптимистка до самых далеких глубин души. На фоне ее светлого характера очень диким показался мне бестолковый и неискренний бунт ее сына. Но и в этом бунте мать ничего особенного не находила:

– Пусть побесится! Это ему полезно будет! Я ему так и сказала: не нравится у меня, ищи лучшего. Школу хочешь бросить – бросай, пожалуйста. Только смотри, вот здесь, в комнате, я никаких разговоров не хочу слушать. Ищи других, которые с тобой, с дураком, разговаривать захотят. Это его у дяди испортили. Там кино каждый день бесплатное! А я где возьму кино? Сядь, книжку почитай! Ничего, перебесится! Теперь в колонию ему захотелось. Приятели там у него, как же!

Коля уже сидел спокойно на стуле и внимательным теплым взглядом следил за оживленно-улыбчивой мимикой матери. Она заметила его внимание и с притворно-ласковой укоризной кивнула:

– Ишь, сидит, барчук! У матери ему плохо! Ничего не скажу, ищи лучше, попрошайничай там...

Коля откинул голову на спинку стула и повел в сторону лукавым глазом.

– И зачем ты, мама, такое говоришь? Я не попрошайничаю вовсе, а при Советской власти я могу требовать.

– Чего? – спросила мать, улыбаясь.

– Что мне нужно, – еще лукавее ответил он.

Не будем судить, кто виноват в этом конфликте. Суд – трудное дело, когда неизвестны все данные. Мне и сын и мать одинаково понравились. Я большой поклонник оптимизма и очень люблю пацанов, которые настолько доверяют Советской власти, что уже и себя не помнят, и не хотят доверять даже родной матери. Такие пацаны много делают глупостей и много огорчений причиняют нам, старикам, но они всегда прелестны! Они приветливо улыбаются матери, а нам, бюрократам, показывают полную пригоршню потребностей и вякают:

– Отправьте меня в колонию.

– Отправьте меня в летнюю школу, я хочу быть летчиком!

– Честное слово, я буду работать и учиться!

И все-таки... Все-таки нехорошо вышло и у Коли, и у его матери. Как-то так получилось, что потребности сына выростали по особой кривой, ничего общего не имеющей ни с материнской борьбой, ни с ее успехами и надеждами. Кто в этом виноват? Конечно, не дядя-директор. Пребывание у дяди только толкнуло вперед бесформенный клубок плохо воспитанных претензий Коли.

И летняя школа, и колония, и даже кино и хорошая пища – прекрасные вещи. Естественно, к ним может стремиться каждый пацан.

Но совершенно понятно, что мы не имеем права считать потребностью каждую группу свободно возникающих желаний. Это значило бы создать простор для каких угодно индивидуальных припадков, и в таком просторе возможна только индивидуальная борьба со всеми последствиями, печально из нее вытекающими. Главное из этих последствий – уродование личностей и гибель их надежд. Это старая история мира, ибо капризы потребностей – это капризы насильников.

Поведение Коли на первый взгляд может показаться поведением советского мальчика, настолько захваченного движением истории, что бег семейной колесницы для него уже скучен. Общий колорит этого случая настолько симпатичен, что невольно хочется оказать Коле

помощь и удовлетворить его неясные желания. Многие так и делают. Я много видел таких облагодетельствованных мальчиков. Из этих мальчиков редко получается какой-нибудь толк. Такие, как Коля, прежде всего насильники, пусть в самой малой дозе. Они подавляют своими требованиями сначала отца или мать, потом приступают с ножом к горлу к представителям государственного учреждения и здесь настойчиво ведут свою линию, подкрепляя ее всем, что попадает под руку: жалобой, слезой, игрой и нахальством.

И за советской физиономией Коли и за его детским притворством скрывается нравственная пустота, отсутствие какого бы то ни было коллективного опыта, который в двенадцать лет должен быть у любого ребенка. Такая пустота образуется всегда, если с раннего детства в семье нет единства жизни, быта, стремлений, нет упражнений в коллективных реакциях. В таких случаях у ребенка потребность набухает в уединенной игре воображения без всякой связи с потребностями других людей. Только в коллективном опыте может вырасти потребность нравственно ценная. Конечно, в двенадцать лет она никогда не будет оформлена в виде яркого желания, потому что корни ее покоятся не в водянистой игре чистой фантазии, а в сложнейшей почве еще неясного коллективного опыта, в сплетении многих образов близких и менее близких людей, в ощущении человеческой помощи и человеческой нужды, в чувствах зависимости, связанности, ответственности и многих других.

Вот почему так важен для первого детства правильно организованный семейный коллектив. У Коли этого коллектива не было, было только соседство с матерью. И каким бы хорошим человеком ни была мать, простое соседство с нею ничего не могло дать положительного. Скорее, наоборот: нет опаснее пассивного соседства хорошего человека, ибо это – наилучшая среда для развития эгоизма. В таком случае как раз и разводят руками многие хорошие люди и вопрошают:

– В кого он уродился?

Алеше четырнадцать лет. Он покраснел, надулся:

– Как, вы достали мягкий? Я не поеду в мягком!

Мать смотрит на него со строгим удивлением: – Почему ты не поедешь в мягком?

– А почему в прошлом году было в международном? А почему теперь в мягком?

– В прошлом году было больше денег...

– Какие там деньги? – говорит Алеша презрительно. – Деньги? Я знаю, в чем тут дело.

Просто потому, что это я еду. Меня можно в чем угодно возить!

Мать говорит холодно:

– Думай, как хочешь. Если не нравится в мягком, можно и совсем не ехать.

– Вот видишь? Вот видишь? – обрадовался Алеша. – Могу и совсем не ехать! Все рады будете! Конечно! И даже билет можно продать. Деньги все-таки!

Мать пожимает плечами и уходит. Она должна еще подумать, что дальше делать с такими проклятыми вопросами.

Но Надя, старшая сестра Алеша, не так спокойна и ничего не откладывает. Надя помнит тревогу гражданской войны, теплушки эвакуационных маршрутов, случайные квартиры прифронтовых городов, помнит стиснутые зубы и горячую страсть борьбы, терпкую неуверенность в завтрашнем дне и воодушевленную веру в победу.

Надя с насмешкой смотрит на брата, и Алеша читает в ее прикушенной губе еще и осуждение. Он знает, что через минуту сестра обрушится на него со страшной силой девичьего невыносимого презрения. Алеша встает со стула и даже напевает песенку – так он спокоен. Но все напрасно; песенку обрывает короткая оглушительная «очередь»:

– Нет, ты мне объясни, молокосос, когда ты успел привыкнуть к международным?

Алеша оглядывается и находит мальчишеский увертливый ответ:

– Разве я говорил, что привык? Я просто интересуюсь. Каждому интересно, понимаешь...

– А жестким вагоном ты не интересуешься?

– Жестким тоже интересуюсь, но только... это потом... в следующий раз... И потом... какое, собственно говоря, твое дело?

– Мое, – говорит сестра серьезно, – мое дело. Во-первых, ты не имеешь права ехать на курорт. Никакого права! Ты здоровый мальчишка и ничем не заслужил, ничем, понимаешь, абсолютно! С какой стати разводить таких? С какой стати, говори?

Алеша начинает скептически:

– Вон куда поехала! По-твоему, так я и обедать не имею права тоже не заслужил...

Но он понимает, что стратегическое отступление необходимо. Что будет к вечеру, даже предположить невозможно. Надька способна на всякую гадость, и перспектива курорта может отодвинуться в далекие эпохи, называемые «взрослыми». Чем кончится сегодняшняя кампания? Хорошо, если только местным пионерским лагерем! Через пятнадцать минут Алеша шутя подымает руки:

– Сдаюсь! Готов ехать в товарном вагоне! Пожалуйста!

Потребность Алеши в международном вагоне не родилась в игре воображения, она выросла в опыте, и тем не менее все понимают, что эта потребность в той или иной мере безнравственна. Понимает это и мать, но она не в силах изменить положение.

Не всякий опыт в нашей стране есть опыт нравственный. Наша семья не является замкнутым коллективом, как семья буржуазная. Она составляет органическую часть советского общества, и всякая ее попытка построить свой опыт независимо от нравственных требований общества обязательно приводит к диспропорции, которая звучит как тревожный сигнал опасности.

Диспропорция в семье Алеши заключается в том, что потребности отца или матери механически становятся потребностями детей. У отца они вытекают из большого ответственного и напряженного труда, из его трудового значения в Советском государстве. А у Алеши они не оправданы никаким коллективным трудовым опытом, а даны в отцовской щедрости; эти потребности у него – отцовская подачка. Принципиально такая семья есть самая старая, старая отцовская монархия, нечто подобное просвещенному абсолютизму.

У нас приходится, в виде исключения, наблюдать такие семьи. У них словесная советская идеология мирно уживается с опытом старого типа. Дети в такой семье регулярно упражняются в неоправданном удовлетворении. Трагическое будущее таких детей очевидно. Впереди у них тяжелая дилемма: либо пройти стадию естественного роста потребностей сначала в состоянии взрослого, либо подарить обществу такой большой и такой квалифицированный труд, чтобы заслужить санкцию общества на большие и сложные потребности. Последнее возможно только в исключительных случаях.

Мне приходилось по этому поводу говорить с отдельными товарищами. Некоторые из них рассуждают панически:

– Что же делать? Если я с семьей еду на курорт, как, по-вашему, я должен ехать в одном вагоне, а семья в другом?

Такая паника удостоверяет только одно: нежелание видеть сущность вопроса, отказ от активной мысли, создающей новое. Международный вагон не дороже судьбы детей, но дело не в вагоне. Никакие фокусы не поправят положения, если в семье нет настоящего тона, постоянного правильного опыта.

Проехать с отцом в каком угодно вагоне в отдельном случае несколько не вредно, если очевидно, что это только приятный случай, вытекающий не из права детей на излишний комфорт, а из их желания быть вместе с отцом. В советском семейном коллективе много найдется других случаев, когда потребности детей не будут связаны с заслугами отца, тогда и у Алеши будет действовать другая логика.

Все это вовсе не значит, что в такой семье к детям нужно применять какую-то особенную дрессировку. Вопрос решается в стиле всей семьи. И если сам отец как гражданин имеет

право на дополнительный комфорт, то как член семейного коллектива он тоже должен себя ограничивать. Какие-то нормы скромности обязательны и для него, тем более что в биографиях наших великих людей скромность всегда присутствует:

«Поднимаемся по лестнице. На окнах белые полотняные занавески. Это три окна квартиры Сталина. В крохотной передней бросается в глаза длинная солдатская шинель, над ней висит фуражка. Три комнаты и столовая. Обставлены просто, как в приличной, но скромной гостинице. Столовая имеет овальную форму; сюда подается обед – из кремлевской кухни или домашний, приготовленный кухаркой. В капиталистической стране ни такой квартирой, ни таким меню не удовлетворился бы средний служащий. Тут же играет маленький мальчик. Старший сын Яша спит в столовой, – ему стелют на диване; младший в крохотной комнатке, вроде ниши».

(Анри Барбюс)

Нравственная глубина и единство семейного коллективного опыта – совершенно необходимое условие советского воспитания. Это относится одинаково и к семьям с достатком и к семьям с недостатком.

В нашей стране только тот человек будет полноценным, потребности и желания которого есть потребности и желания коллективиста. Наша семья представляет собой благодарный институт для воспитания такого коллективизма.

Глава третья

Степан Денисович Веткин познакомился со мной в начале лета 1926 года. Я и сейчас вспоминаю появление его с некоторым смущением: оно было похоже на вторжение неприятельской армии, произведенное неожиданно – без объявления войны.

А между тем ничего военного на деле как будто и не было. Степан Денисович мирно и застенчиво вошел в мой служебный кабинетик, очень вежливо поклонился, держа кепку впереди себя в обеих руках, и сказал:

– Если вы очень заняты, простите за беспокойство – у меня к вам минимальная просьба.

Даже при слове «минимальная» Степан Денисович не улыбнулся, был сдержанно серьезен и скорее озабочен, чем угрюм.

Он уселся на стуле против меня, и я мог лучше рассмотреть его лицо. У него хорошие усы, прикрывающие рот, под этими усами он часто как-то особенно мило вытягивал губы, как будто что-то обсасывал, на самом деле у него во рту ничего не было, – это движение выражало тоже озабоченность. Рыжая борода Степана Денисовича была немного сбита вправо, вероятно, оттого, что он часто тербил ее правой рукой.

Степан Денисович сказал:

– Да... Видите ли, какое дело! Я, собственно говоря, учитель, здесь недалеко, в Мотовиловке...

– Очень приятно. Коллега, значит...

Но Степан Денисович не поддержал моего оживления. Он захватил рукой большой участок рыжей своей бороды и суховаато объяснил, глядя чуть в сторону:

– Приятно – нельзя сказать. Я, конечно, люблю это дело, но прямо скажу – не выходит. То есть методически выходит, а организационно не выходит.

– В чем же дело?

– Да... не то, что организационно, а можно сказать, в бытовом отношении. Я у вас прошу сейчас работу... кузнеца.

Я удивился молча. Он мельком взглянул на меня и продолжал еще более сухо, с особенной симпатичной солидностью, вызывающей большое доверие к его словам:

– Я – хороший кузней. Настоящий кузнец. Мой отец тоже был кузнец. В ремесленном училище. Я потому и вышел в учителя. Ну, вот. А у вас тут все-таки заводик, и кузнец хороший нужен. И притом учитель.

– Хорошо, – согласился я. – Вам нужна квартира?

– Да как вам сказать? Комната, конечно, или две комнаты. Семья у меня значительная... Очень значительная.

Степан Денисович засосал губами и задвигался на стуле.

– Учительское дело хорошее, но такую семью невозможно содержать. И кроме того – деревня. Куда они пойдут, детишки?

– Сколько у вас детей?

Он посмотрел на меня и улыбнулся в первый раз. В этой улыбке я увидел, наконец, настоящего Степана Денисовича. Его озабоченное лицо ничего общего не имело с улыбкой: зубы в ней были веселые, белые, блестящие. С прибавлением улыбки Степан Денисович казался искреннее и добрее.

– Это для меня самый трудный вопрос: отвечать прямо – стыдно, а часто все-таки приходится, понимаете, отвечать.

Его улыбка еще раз мелькнула и растаяла за усами, а на ее месте снова вытянутые озабоченные губы, и снова он отвернулся от меня:

– Тринадцать. Тринадцать детей!

– Тринадцать? – завопил я в крайнем изумлении. – Да что вы говорите?!

Степан Денисов ничего не ответил, только еще беспокойнее завозился на стуле. И мне стало страшно жаль этого симпатичного человека, я ощутил крайнюю необходимость ему помочь, но в то же время почувствовал и озлобление. Такое озлобление всегда бывает, если на ваших глазах кто-нибудь поступает явно неосмотрительно. Все эти мои чувства разрешились в неожиданном для меня самого восклицании:

– Черт знает что! Да как же... да как же вас угораздило?

Он выслушал мой неприличный возглас с прежним выражением усталости и заботы, улыбаясь только краем уса:

– В семье может быть от одного до восемнадцати детей. Я читал: до восемнадцатого бывало. Ну... на мою долю выпало тринадцать.

– Как это «выпало»?

– Ну, а как же? Раз бывает до восемнадцати, значит, где-нибудь и тринадцать окажется. Вот на меня и выпало.

Я быстро договорился со Степаном Денисовичем. Хороший кузнец нам, действительно, был нужен. Степан Денисович рассчитывал, что кузнецом он заработает больше, чем учителем, наша организация могла пойти навстречу его расчетам.

С квартирой было хуже. Насилу-насилу я мог выкроить для него одну комнату, да и для этого пришлось произвести целую серию переселений и перетасовок. Правда, наши рабочие так заинтересовались столь выдающейся семьей, что никто и не думал протестовать. По этому поводу кладовщик Пилипенко сказал:

– А я считаю, что это свинство. Уступить, само собой, нужно, а все-таки человек должен соображение иметь и расчет иметь! Живи, живи, да оглядывайся. Скажем, у тебя трое, четверо, смотришь, пятеро стало! Ну, оглянись же, такой-сякой, посчитай: пятеро, значит, сообрази – следующий шестой будет. А то, как дурень с печи, – никакого расчета!

Но товарищ Чуб, старый инструментальщик, у которого было именно шестеро детей, объяснил, что простая арифметика в этом вопросе ничего еще не решает:

– Такое сказал: считай! Думаешь, я не считал? Ого! А что поделаешь: бедность. Бедность, вот кто дела такие делает! У богатого две кровати, богатый себе спит и все. А у бедного одна кровать. Сколько ни считай, а она свое возьмет, и не заметишь как...

– Просчитаешь, – сказал кладовщик.

– Просчет происходит, а как же! – засмеялся и Чуб, который, впрочем, всегда любил веселый разговор.

Круглый и толстый бухгалтер Пыжов слушал их разговор покровительственно, а потом внес и свою лепту в дело объяснения подобных феноменальных явлений:

– Просчет в таком случае вполне возможен. Главное здесь в дополнительном коэффициенте. Если у тебя один ребенок, а второй, так сказать, в проекте, то ожидается прибавление ста процентов. Расчетливый человек и задумается: сто процентов – сильный коэффициент. Ну, а если у тебя пятеро, так шестой, что же, всего двадцать процентов – пустяковый коэффициент, человек и махнет рукой: была не была, рискую на двадцать процентов!

Слушатели хохотали. Чуба в особенности увлекала причудливая игра коэффициентов, и он потребовал немедленного приложения этой теории к собственному случаю:

– Ох ты, черт! Это значит, если у меня – седьмого подготовить, какой же выйдет... этот...

– Седьмого? – Пыжов только глянул на небо и определил точно: – В данном положении будет коэффициент шестнадцать и шесть десятых процента.

– Пустяк! – в восторге захрипел Чуб. – Конечно, тут и думать нечего!

– Так и дошел человек до тринадцати? – заливался кладовщик.

– Так и дошел, – подтвердил бухгалтер Пыжов, – тринадцатый – это восемь и три десятых процента.

– Ну, это даже внимания не стоит, – Чуб просто задыхался от последних открытий в этой области.

Так весело и встретили все встретили Степана Денисовича, когда он приехал второй раз посмотреть на квартиру. Степан Денисович не обижался ни на кого, он понимал, что математика обязывает.

Квартиру осмотрели компанией. Комната была средняя, метров на пятнадцать квадратных. Помещалась она в одной из хат, доставшихся нашему заводу еще от старого режима. Степан Денисович все пожевывал и посасывал, осматривал комнату, и как будто про себя грустно вспоминал:

– Там все-таки у меня две комнаты... Ну, ничего, как-нибудь...

Что я мог сделать? В растерянности я задал Степану Денисовичу глупый вопрос:

– У вас... много мебели?

Веткин с еле заметным укором на меня глянул:

– Мебель? Да разве мне до мебели? И ставить некуда.

Он вдруг очаровательно улыбнулся, как бы поддерживая меня в моем смущении:

– Вообще для предметов неодушевленных свободных мест нет.

Чуб лукаво почесал небритый подбородок и прищурил глаз:

– При таких объективных условиях товарищу не мебели нужны, а стеллажи, вот как у меня в инструментальной. Стеллажи, если начальник не против, можно будет сделать.

Он прикинул глазом высоту комнаты:

– Три яруса. Четвертый, дополнительный на полу.

– Нельзя здесь поместить тринадцать, – сказал опечаленный кладовщик Пилипенко, – какая же здесь кубатура останется для дыхания воздухом? Никакой кубатуры, да и вас же двое.

Веткин поглядывал то на одного консультанта, то на другого, но у него не было растерянного вида. Вероятно, все затронутые обстоятельства у него были давно учтены и сверстаны в общий план операции. Он подтвердил свое прежнее решение:

– Так я десятого перевезу семейство. Нельзя ли конячку какую-нибудь, потому что все-таки барахлишко и малыши пешком не дойдут от вокзала.

– Конячку? Пожалуйста! Даже две!

– Вот это спасибо. Две, конечно, лучше, потому... семья все-таки переезжает.

Десятого мая, в воскресенье, совершился въезд семейства Веткиных на территорию нашего завода. Завод был расположен недалеко от города, и к нему была проложена специальная дорога, вымощенная булыжником. Рано утром две заводские «конячки» притащили к городу некоторое подобие экипажей, отчасти похожих на линейки, отчасти на площадки. К полудню по дороге началось движение публики, чего раньше никогда не бывало. Семейные пары делали вид, будто совершают воскресную прогулку, дышат свежим воздухом и наслаждаются окрестными ландшафтами.

В два часа дня показалась процессия – никакое другое слово к описываемому явлению не подходит. Сидящий на первой подводе трехлетний мальчик держал в руке небольшой игрушечный флаг, и это еще больше придавало всему шествию характер торжественный.

Впереди шли две подводы. На них преобладало «барахлишко», только на первой сидел знаменосец, а на второй двое детей поменьше. «Барахлишко» состояло из вещей малого размера, за исключением шкафика, установленного на первой подводе в самом ее центре, что придавало шкафику некоторую нарочитую торжественность. Это был кухонный шкафик – одно из самых счастливых изобретений человечества, шкафик, но в то же время и стол. Такие вещи издают всегда замечательный запах: от них пахнет теплом, свежеспеченным хлебом и детским счастьем. Кроме шкафика выделялись большой самовар, две связки книг и узел с подушками. Все остальное было обыкновенной семейной мелочью: ухваты, веники, ведро, чугушки и т. д.

Рядом со второй подводой шла девушка лет семнадцати, в стареньком, потемневшем ситцевом платьице, босиком и с непокрытой головой. Видно было, что она всегда так ходила: несмотря на то, что лето только началось, волосы ее успели сильно выгореть, лицо было покрыто густым красноватым загаром, а на щеках даже шелушилось. И все же оно производило очень приятное впечатление: серьезное, хорошей формы рот. Голубые глаза ясно и спокойно поблескивали под прямыми умными бровками.

За подводами два мальчика, приблизительно одного роста и возраста, несли выварку¹, чем-то наполненную и прикрытую полосатым куском материи. Этим было лет по тринадцать. За ними шествовала центральная группа детворы от пяти до двенадцати лет, мальчики и девочки. Двое, самые молодые, – девочки, щекастые и пузатенькие, – шли впереди, взявшись за руки, часто перебирали босыми ножками по чистым теплым булыжникам мостовой и имели вид очень озабоченный: подводы хоть и медленно двигались по шоссе, но этим пешеходам трудно было управиться и с такой скоростью.

Остальные, большие мальчики, заняты были делом: каждый что-нибудь тащил на руках или на плечах, кто зеркало, кто связку рамок, самый старший нес граммофонную трубку.

Вся эта компания произвела на меня неожиданно приятное впечатление: головы всех были острижены под машинку, загоревшие мордочки казались чистыми, даже босые ножки были припорошены только сегодняшней пылью. Поясов ни у кого не было, но воротники ситцевых рубашек были аккуратно застегнуты, не было нигде ничего изодранного, только у того, что нес трубу, блестела на колене заплатка. Особенно же мне понравилось то, что ни у одного члена процессии не было несимпатичного или отталкивающего выражения: никаких болячек, никакой золотухи, никаких признаков умственной отсталости. Они спокойно поглядывали на нас, не смущались, но и не глазели безразлично, иногда о чем-то между собой переговаривались, не понижая голоса, но и не бравируя своей свободой.

Я расслышал несколько слов такого разговора:

– Тут сухое место. А это лоза.

– Из нее корзинки можно делать.

– Батько обязательно сделает!

Сам батько, творец и руководитель всей этой армии, шел сзади и бережно нес в руках граммофонный ящик. Рядом с ним, спустив с черной головы желтый, яркий платок, выступала важно, улыбаясь нам влажными большими глазами красивая, румяная женщина. Проходя мимо нас, Степан Денисович расцвел своей замечательной улыбкой и приподнял кепку:

– Приехали! Что хотите делайте, а приехали! Ваши, смотри, рты разинули! А это моя жена, честь имею: Анна Семеновна!

Анна Семеновна церемонно наклонила голову и протянула руку, потом черными глазами стрельнула вокруг и сказала солидным низким контральто:

– Вот ему нужно: рты разинули! Привыкнут. Были бы люди хорошие, не злые.

В этот момент среди встречающих произошло движение. Жена инструментальщика Чуба, широкая и важная дама, до сих пор смотревшая на шествие с поджатыми губами, воздела руки и воскликнула:

– Ой, лышенько! Ой, боже ж ты мой! Такие крошки и пешком идут! С вокзала пешком, легко сказать!

Она бросилась к одной из крошек и подхватила ее на руки. Девочка из-за ее плеча выставила такую же, как и раньше, озабоченную мордочку и так же тарщила на мир голубые глазенки. Немедленно и другая крошка вознеслась на чьи-то плечи. Встречающие смешались с процессией. К Веткиным подошел бухгалтер Пыжов и сказал, протягивая руку:

– С приездом! И самое главное, не робейте! Это, понимаете, правильно: кадры!

¹ Выварка – бак для кипячения белья.

Пользуясь летним временем. Степан Денисович решил основную часть своей армии поместить на свежем воздухе. Для этого он устроил возле своей хаты нечто вроде веранды. Для такого дела нашлось в разных концах нашего двора много бросового материала: обрезки, куски реек, ящики. Воспользовавшись моим разрешением, Степан Денисович назначил для доставки этого материала резервные силы армии, в то время когда основные силы занялись самой постройкой.

Еще семья Веткиных не прибыла к нам, а меня заинтересовал важный педагогический вопрос: имеется ли в этой семье какая-либо организационная структура, или семья представляет из себя, так сказать, аморфную массу? Я прямо спросил об этом Степана Денисовича, когда он зашел ко мне по делу.

Веткин не удивился моему вопросу и одобрительно улыбнулся:

– Вы правы, это очень важный вопрос, структура, как вы говорите. Конечно, есть структура, хоть и трудный вопрос. Тут могут прийти в голову разные неправильные принципы...

– Например?

– Да вот я вам объясняю. Можно, допустим, по возрасту, тогда для дела хорошо будет, а для воспитания неправильно, малыши и одичать могут. В этом вопросе нужно по-разному. Для хозяйства у меня будет главная бригада – четверка: Ванька, Витька, Семен и опять же Ванюшка. Старшему Ваньке пятнадцать лет, Ванюшке десять, но он тоже шустрый, может то – другое делать.

– Как это у вас для Вани вышло?

– Вышло так в беспорядке. Старший Ванька правильный, я люблю это имя, а то теперь в моду вошли Игори да Олеги. Ну, а второй родился в шестнадцатом году – война, то, се. Я как учитель освобождается, да черт их разберет, потащили и меня к воинскому начальнику и продержали две недели. А жинка в это время с прибавлением. Хлопоты, нужда, волнение, а кумовья попались неотесанные, деревня! Батюшка, видно, спешил куда, заглянул в святцы, какого святого? Ивана-мученика. Ну, и бултых в воду с этим мучеником, так и осталось. Да ничего страшного, может, потом будут путаться, а сейчас ничего: то – Ванька, а то – Ванюша, они так уже и знают. Ванька белый, а Ванюшка черный, в мать.

– Так это у вас хозяйственная бригада?

– Ого! Хозяйственная. И в школу ходят, и дома, если что сделать, всегда компанией. Работники будут. И к тому же мальчишки. Вот вам и структура. Потом есть еще бригада, хэ, хэ! Васька – восемь лет, осенью в школу, подходит к старшим, а пока гуляет. А кроме него, Люба – семь годков, а Кольке – шесть. В хозяйстве с них какой толк, а все-таки приучаются: принести что, отнести, в кооператив сбегать. Читать умеют и счет в пределах двух десятков – удовлетворительно.

– Это они сейчас материал стаскивают?

– Они. Васька, Люба и Колька, это их дело. Ну, а под ними, конечно, мелочь: Марусе только пять, а другие меньше: Вера и Гришка. А Катя и Петька самые малые – близнецы, в позапрошлом году только появились.

– Старше всех дочка?

– Оксана, как же! Оксана вне конкуренции. Во-первых, невеста, во-вторых, она все умеет, и матери, пожалуй, не уступит в хозяйстве. Это особая статья, и тут подумать нужно. Из Оксаны хороший человек выйдет, и учиться хочет – в рабфаке. Вот посмотрю осенью.

Первая бригада Ваньки старшего неустанно работала по постройке веранды. Сам Степан Денисович мало ей помогал, так как приступил уже к работе в нашей кузнице, и только после четырех часов его взлохмаченная голова торчала над готовым каркасом веранды, занятая больше всего вопросом о конструкции крыши. Но даже и в эти вечерние часы распорядительная власть принадлежала Ваньке. Однажды при мне он сказал отцу:

– Ты туда не лазь. Утром мы сами сделаем. А ты лучше гвоздей достань. Этих гвоздей мало.

В распоряжении бригады были только те гвозди, которые Ванюшка младший вытаскивал из старых досок. Он целые дни просиживал за этим делом, в его распоряжении были для этого клещи и особый молоток с раздвоенным узким концом. Ванюшкина продукция «лимитировала» постройку, и Ванька старший отдал приказание резерву, доставляющему материал:

– Вы не бросайте где попало. Если с гвоздиком, несите к Ванюшке, а если без гвоздика, давайте мне.

Начальник резерва, восьмилетний Васька, человек лобастый, коренастый и серьезный, не пошел, однако, на усложнение работы по доставке материала, а мобилизовал представительницу «мелочи», пятилетнюю Марусю – существо необыкновенно радостное и краснощекое. Маруся с любопытством рассматривала каждую дощечку, придиралась к каждому подозрительному пятнышку и, надувая и без того полные щечки, откладывала дощечку в ту или иную сторону. Во время работы она нежно приговаривала:

– С гвоздиком... Без гвоздика... С гвоздиком... Три гвоздика... А эта... без гвоздика... А эта с гвоздиком...

Только изредка она с испугом всматривалась в какой-нибудь подозрительный обрывок проволоки, прилепившийся к дощечке, и озабоченно топала к Ваньке или к Витьке с трагическим вопросом:

– Это тоже гвоздик? Или это другое?... Это ровалка? Какая ровалка? Это не нужно с гвоздиком?

Молодые Веткины поражали окружающих удивительным спокойствием своих характеров. В этом переполненном семействе почти не слышно было плача. Даже самые младшие Веткины, близнецы Катя и Петька, никогда не задавали таких оглушительных концертов, какие случались, например, в семействе Чуба. У Чуба дети были веселые, боевые, очень подвижные и предприимчивые. Они много играли, были организаторами всей детворы нашего двора, много проказничали и веселились, их голоса слышались то в том, то в другом конце. Очень часто эти голоса приобретали подчеркнуто минорный характер, а иногда приобретали форму рева, настойчивого, упорного, вредного, с причитаниями и обидами, с неожиданными повышениями до «крика под ножом убийцы». Чубы-родители деятельно боролись с подобными излишествами, сами кричали, ругались и даже проклинали свое потомство, а в случаях с наибольшей экспрессией размахивались затрещинами и подзатыльниками и другими видами непосредственного воздействия. Такое оформление часто сообщало семье Чубов характер классической трагедии, вроде «Ричарда III», в которой, как известно, детей убивают пачками. На деле, конечно, ничего трагического не было.

Молодые чубенки, накричавшись до хрипа и получив все, что им полагалось по обычаям педагогики, вытирали слезы и немедленно забывали все обиды и неприятности, в том числе и собственные домогательства, послужившие ближайшим поводом к конфликту, и отправлялись с веселыми выражениями лиц продолжать свою счастливую детскую жизнь в другом конце двора. Старые Чубы тоже не предавались никакой грусти. Напротив, сознание исполненного родительского долга повышало их жизнедеятельность, необходимую для выполнения стоящих перед ними семейных задач.

Ничего подобного не было у Веткиных. Даже Катя и Петька в самых пессимистических случаях ограничивались коротким хныканьем, имеющим главным образом символическое значение. Более старшие элементы веткинского потомства даже и не хныкали никогда. Конфликты этой семьи не выносились на общественную арену, а может, конфликтов и вовсе не было.

Наше заводское общество обратило внимание на эту особенность Веткиных; все старались как-нибудь объяснить ее. Никто при этом не упоминал о педагогических талантах родителей.

Чуб говорил:

– Характеры такие. Это от природы. И тут ничего хорошего нет, если вообще посмотреть. Человек должен все уметь. Какой же это человек будет, если ему все равно, хоть блин, хоть г...о? Человек, если что – кричать должен, сердце у него должно быть. И плакать в детском положении следует по закону: живой человек, а не кукла. У своего батька я первый скандалист был, и попадало, правда, то аршином, а то и кулаком. А теперь живу без скандалов, хотя, если кто налезет, пожалуйста, я тоже покричать могу, а как же иначе?

Бухгалтер Пыжов был другого мнения:

– Не в том дело, товарищ Чуб, не в характере дело, а в экономической базе. Когда у тебя один или два, увидят что – дай! На! Дай этого! На! Дай того! Ну, надоест, нельзя! Начинается крик, конечно, потому что раньше давали, а теперь не дают. А у Веткина – тринадцать, крути не верти, а все равно постоянный недостаток и дефицит. Тут никому в голову не придет кричать: дай! Как это «дай»? Откуда дать? Я и то удивляюсь, как это Степан Денисович управляется без счетовода? Тут, что ни попадет в общий котел, подумай да подумай, по сколько граммов приходится на персону, да ведь не просто раздели, а по дифференциальному методу, старшему одно, а младшему другое. Вот почему и характеры спокойные: каждый сидит и ожидает своего пайка, криком все равно не поможешь.

– Ну, это вы по-ученому придумали, товарищ Пыжов, а только не так, – возразил Чуб. – У меня тоже шестеро. По какому хочешь методу, все равно мало приходится на одного. А, однако, орет, понимаешь, хоть ты ему кол на голове теши: дай и все! И такой результат: кто больше кричит, так тому больше и дается. А не выкричит, так силой отнимет у другого. У меня Володька такой – напористый!

Веткин выслушал эти философские новеллы со сдержанной улыбкой превосходства и ответил так:

– Если человек напористый, это еще вопрос, нужно или не нужно. Один напористый нарвется на другого напористого и за ножи хватаются или просто в драку! Надо, чтобы компания была хорошая, тогда все и сделается, а то «напористый»! А что дети плачут и кричат, так это просто от нервов. Вы думаете, у вас только нервы? У них тоже. На вид он хороший мальчишка, и веселый, и все, а на самом деле у него нервы испорчены, как у барыни-сударыни. Он и кричит. Если ему нервы не портить с первого года, чего он будет кричать?

– У моих нервы? – поразился Чуб. – Ого!

– Чего там «ого»? – сказал Веткин и развел усы, прикрывая рукой улыбку. – У тебя у самого нервы бракованные.

Снабдить пищей свою семью Веткину было трудно. Правда, мы отвели для его нужд значительный участок огорода, и на нем скоро заработали Анна Сергеевна и Оксана. Помогли Веткину и еще кое-чем: лошадь, плуг, семена и особенно важная вещь – картофель. Но пока что огород требовал только труда и расходов.

Степан Денисович не жаловался, но и не скрывал своего положения:

– Я не падаю духом. Сейчас главное – хлеб. Для начала, если будет хлеб, хорошо. Но все-таки: самое минимальное – полпуда хлеба, это значит, по пятьсот граммов на едока, в сущности, даже маловато. Каждый день полпуда!

Мы все понимали, что от Веткиных требовалась змеиная мудрость. Сам Веткин эту мудрость реализовал на работе. Он был и в самом деле хороший кузнец: в этом деле ему здорово помогала учительская культура. Заработок его поэтому был гораздо выше среднего заработка нашего рабочего.

Но я был очень удивлен, когда на мое предложение о вечерней сверхурочной работе Веткин ответил:

– Если нужно для завода, я не откажусь – это другое дело. Ну, а если это вы как бы в поддержку мне, так такого не нужно делать, потому что с таким принципом можно сильно напутать.

Он смущенно улыбнулся и потом уже не мог спрятать улыбку, хотя и старался изо всех сил запихнуть ее за густую занавеску усов, – это значит, он чувствовал какую-то неловкость.

Человек должен работать семь часов, а если больше, значит, неправильная амортизация. Я этого не понимаю: народил детей и умри. Это вот, забыл уже, насекомое такое или бабочка, так она живет один день. Положила яички и до свидания: больше ей делать нечего. Может, для бабочки и правильно, потому что ей и в самом деле нечего делать, а у человека много дела. Я вот хочу видеть, как Советская власть пойдет и как перегоним этих... Фордов разных и Эдисонов. И японцы, и Днепрострой, мало ли чего? Семь часов кузнечной работы – это для меня не легко.

– Но вы только что сказали, – отозвался я, – что если нужно для завода...

– Это другое дело. Для завода нужно – и все. А для детей моих не нужно. Надо, чтобы отец у них как человек был, а не то, как я наблюдал, не человек, а просто лошадь: взгляд тупой, спина забитая, нервы ни к черту, а души, как кот наплакал. К чему такой отец, спрашивается? Для хлеба только. Да лучше такому отцу сразу в могилу, а детей и государство прокормит – хлеба не пожалеет. Я таких отцов видел: тянет через силу, ничего не соображает – свалился, издох, дети – сироты; а если и не сироты, так идиоты, потому что в семье должна быть радость, а не то что одно горе. А еще и хвалятся люди: я, говорит, все отдал для детей! Ну, и дурак, ты отдал все, а дети получили шиш. У меня хоть и небогатая пища, зато в семье есть компания, я здоровый, мать веселая, душа есть у каждого.

Признаюсь, что в то время такие рассуждения Степана Денисовича не то что не понравились мне, а упали как-то не на благоприятную почву. Логически с ним трудно было не согласиться, но трудно было представить себе ту границу, которая могла бы точно отделить подобную философию от эгоизма или простой лени. Я привык считать, что чувство долга только тогда будет действенным и нравственно высоким, когда оно не находится в очень близком родстве с арифметикой или аптекой.

Мне захотелось ближе посмотреть, как вся эта теория выглядит в практической линии Степана Денисовича. Но зайти к Веткиным у меня все не выбиралось времени, тем более что положение их постепенно улучшилось. В другой половине хаты Веткина жили две девушки-обмотчицы. Они по собственному почину уступили свою комнату Веткиным, а сами переехали к подруге в другую хату. Степан Денисович деятельно занялся реорганизацией своего обиталища.

Как-то я и инструментальщик Чуб уже в августе месяце пробирались в город. Шли по узкой кривой тропинке в молодых дубовых зарослях. Чуб по своему обыкновению говорил о людях:

– Веткин сына на экзамен отправил – Ваньку старшего. А будет жить у дяди в городе. И сейчас там. Дай мне такого дядю, так я тебе не только тринадцать – тридцать детей наготовлю. Людям везет по-разному: у одного – голова, у другого – борода красивая, у третьего – дядя!

– Что там за дядя такой?

– Ого! Не дядя, а масло! Председатель ГРК², легко сказать! Четыре комнаты, рояль, диваны, ну, мануфактуры разной, продовольствия, как ц царя!

– Крадет, что ли?

² ГРК – Городской рабочий кооператив.

– Чего крадет? Покупает, хэ! В своих магазинах всегда можно купить. Если бы, допустим, у меня свои магазины были, разве я не покупал бы? Нэп называется! Бывает и Нэп, а бывает и ХЭП, ХАП! При «хапе» и для племянников хватит. А вы спросите Степана Денисовича, почему он к дяде пристроился? Ну, и отдал бы Ваньку в наш фабзавуч. Так нет, к дяде нужно, потому что там Нэп этот самый!

В этот момент из-за дубовых зарослей по той же кривой дорожке вышли Степан Денисович и Ванька. Ванька брел сзади, шелкал прутиком по встречным стволам молодых деревьев и имел то сложное выражение, которое бывает только у мальчиков, когда они из уважения и любви к старшим покоряются их решениям, но в глубине души крепко стоят на какой-то своей принципиальной позиции, и это ясно видно по еле заметной, но все же настойчивой и иронической улыбке и в легком налете такого же иронического лака на грустных глазах.

– Выдержал? – крикнул Чуб еще издали.

Степан Денисович даже не улыбнулся, сердито глянул назад на сына и, направляясь мимо нас, буркнул холодно:

– Выдержал.

Но потом вдруг остановился и сказал, глядя в землю:

– Вы слышали о дворянской гордости? Пожалуйста, вот вам дворянская гордость!

Несколько театральным жестом Веткин показал на Ваньку. Сей представитель дворянства в одной руке держал ботинки, а в другой прутик, которым царапал землю у своих босых ног, рассматривая исцарапанное место прежним сложным взглядом, состоящим из двух лучиков: один грустный и расстроенный, а другой лукавый и вредный. Последний лучик, может быть, как раз и отражал идею, безусловно, дворянскую.

Степан Денисович старался пронзить Ваньку сердитым взглядом, но не пронзил: Ванька оказался твердым, как самшит. Тогда Степан Денисович обратился к нам с жалобой на сына:

– Яблоки! Яблоки он признает, если натаскает из совхозного сада. А если они на столе у человека, так он их не признает!

Такое возмутительное отношение к яблокам, конечно, не могло быть изображено никакими словами. Степан Денисович снова воззрился на Ваньку.

Ванька совершил головой неразборчивое движение, состоящее из поматывания в нескольких направлениях, и сказал:

– Разве только яблоки? Не в яблоках дело, а вообще... я там жить не буду.

Степан Денисович снова обернулся к нам, чтобы подчеркнуть развратный характер Ванькиных слов, но Ванька продолжал:

– На что мне ихние яблоки? И конфеты? И этот... балык!

Ванька вдруг пыхнул смехом и отвернул покрасневшее лицо, прошептав несколько смущенно:

– Балык...

Воспоминание об этом деликатесе смешило Ваньку недолго, к тому же это был горький смех сарказма. Ванька повернул этот сарказм к нам его серьезной стороной и сказал с настоящим осуждающим выражением:

– У нас дома ничего такого нет, и я не хочу! Не хочу – и все!

Кажется, в этих словах заключалось окончательное утверждение Ваньки, потому что, сказав их, Ванька выпрямился, крепко хлопнул прутиком по ноге, как будто это был не прутик, а стек, и глянул на батька. В этот момент в выражении Ванькиной фигуры было действительно что-то аристократическое.

Степан Денисович под правым усом что-то такое сделал, как будто начал улыбаться, но бросил эту затею и сказал пренебрежительно:

– Гордец какой! Подумаешь!

Он круто повернулся и зашагал по направлению к заводу. Ванька быстро свернул взглядом по нашим лицам, как будто хотел поймать их на месте преступления, и спокойно тронулся за батьком.

Чуб задержал теплый взгляд на уходящем мальчике, кашлянул и полез в карман за махоркой. Он долго расправлял пальцами измятый листик папиросной бумаги, долго насыпал и распределял на нем табак и все посматривал задумчиво в сторону скрывшегося уже Ваньки. Только заклеив смоченную языком сигарку и взяв ее в рот, он зашарил в глубоком кармане грязного пиджака и сказал хрипло:

– Да-да, мальчишка... А как вы скажете, правильно или неправильно?

– Я думаю, что правильно.

– Правильно?

Чуб стал искать спички в другом кармане, потом в штанах, потом где-то за подкладкой и улыбнулся:

– На свете все легко решается. Вот вы сразу сказали: правильно. А может, и неправильно. Спички вот, и то все бока расцарапаешь, пока найдешь, а тут тебе жизнь, жизненная правда! Как же так, правильно? Вам хорошо говорить, а у Веткина тринадцать. Имеет право этот босяк задаваться? Яблоки, балык, смотри ты! А если у батька и картошки не хватает?

– Пойдите, Чуб, вы только сейчас осуждали Веткина...

– Осуждал, а как же! А что ж тут хорошего? Дядя тот сукин сын, а Веткин к нему мостится.

– Ну?

– Так это другое дело. Это к старику придирика, а мальчишке какое дело? Мальчишка должен понимать, что отцу трудно, отец и думает, как лучше. Нашел-таки спички, смотри, куда залезли! Теперь детвора стала такая – все сама, и делает сама, и понимает сама, а ты за нее отвечай!

Ванька настоял на своем и поступил в наш фабзавуч. Городской дядя, таким образом, был оставлен в потенциальном состоянии.

Описанный случай меня заинтересовал в нескольких разрезах. Хотелось увидеть поближе всю мотивационную натуру Ваньки, нужно было выяснить и другое, как такие натуры делаются? Для нашего брата, педагога, второй вопрос представляет настолько важное значение, что мне нестыдно было поучиться кое-чему у такой кустарной педагогической организации, как семья Веткиных. При этом мне не могло прийти в голову, что Ванькина натура дана от природы, что она не является результатом хорошей воспитательной работы.

Среди так называемой широкой публики у нас широко распространено знание того, что теория Ломброзо³ ошибочна, что хорошее воспитание из любого сырого материала может выковать интересный и здоровый характер.

Это правильное и симпатичное убеждение, но, к сожалению, у нас оно не всегда приводит к практическим результатам. Это происходит потому, что значительная часть наших педагогов исповедует пренебрежение к Ломброзо только в теоретических разговорах, в докладах и речах, на диспутах и конференциях. В этих случаях они решительно высказываются против Ломброзо, но на деле, в будничной практической сфере, эти противники Ломброзо не умеют точно и целесообразно работать над созданием характера и всегда имеют склонность в трудных случаях потихоньку смыться и оставить природное сырье в первоначальном виде.

Эта линия положила начало многим завирательным писаниям и теориям. Отсюда «стала есть» и педология, в порядке хитроумного непротивления, пошла и теория «свободного вос-

³ Чезаре Ломброзо (1836–1909) – итальянский криминалист и психиатр, выдвинувший теорию «преступного человека» (типы личности, предрасположенные от рождения к преступлению).

питания», а еще естественнее – пошли отсюда же обыкновенные житейские умывания рук, воздевание тех же конечностей, отмахивание теми же конечностями, сопровождаемые обычными словечками:

- Ужасный мальчик!
- Безднадежный тип!
- Мы бессильны!
- Неисправим!
- Мы на него махнули рукой!
- Нужен специальный режим!

Уничтожение педологии, всенародный провал «свободного воспитания» произошли на наших глазах. Но неудачникам-педагогам стало от этого еще труднее, ибо теперь ничем теоретическим нельзя прикрыть их практическую немощь, а если говорить без обиняков и реверансов – их непобедимую лень.

Ломброзо можно смешать с грязью только единственным способом – большой практической работой над воспитанием характера. А эта работа вовсе не такая легкая, она требует напряжения, терпения и настойчивости. Многие же наши деятели чистосердечно думают, что достаточно чуточку поплясать над поверженным Ломброзо и изречь несколько анафем и долг их выполнен.

Вся эта «практическая» печаль состоит, впрочем, не из одной лени. В большинстве случаев здесь присутствует настоящее, искреннее и тайное убеждение, что на самом деле если человек зародился бандитом, то бандитом и издохнет, что горбатого могила исправит, что яблочко от яблони недалеко падает.

Я исповедую бесконечную, бесшабашную и безоглядную уверенность в неограниченном могуществе воспитательной работы, в особенности в общественных условиях Советского Союза. Я не знаю ни одного случая, когда бы полноценный характер возник без здоровой воспитательной обстановки или, наоборот, когда характер исковерканный получился бы, несмотря на правильную воспитательную работу. И поэтому я не усомнился в том, что благородство Ванькиной природы должно привести меня к естественному его источнику – к глубокой и разумной семейной педагогике.

А с Ванькой старшим я поговорил при первом удобном случае, который произошел в том же лесу, только в самой его глубине, подальше от извилистых дорожек в город. В выходной день я просто бродил в этом месте, соблазненный возможностью побыть одному и подумать над разными жизненными вопросами. Ванька собирал грибы. Еще раньше Степан Денисович говорил мне:

– Грибы – это хорошо придумано. Когда у человека денег нету, можно пойти и насобирать грибов. Хорошая приправа и даром! Ягода – в том же духе. Еще крапива, молодая только.

Ванька ходил по лесу с большой кошелкой и собирал именно грибы – маслята. Из кошелки они уже выглядывали влажной аппетитной верхушкой, и Ванька из подола рубахи соорудил нечто вроде мешка и складывал туда последние экземпляры. Он поздоровался со мной и сказал:

– Батько грибы страшно любит. И жареные и соленые. Только здесь белых грибов нет, а он больше всего белые любит.

Я сел на пень и закурил. Ванька расположился против меня на травке и поставил кошелку к дереву. Я спросил у него прямо:

– Ваня, меня интересует один вопрос. Ты отказался жить у дяди из гордости... Отец твой правильно сказал, так же?

– Не из гордости, – ответил Ваня и ясно на меня глянул голубыми спокойными глазами. – Чего из гордости? Просто не хочу, на что мне этот дядя?

– Но ведь у дяди лучше? И семье твоей облегчение.

Я это сказал и сразу же почувствовал угрызения совести, даже виновато улынулся, но синева Ванькиных глаз была по-прежнему спокойна:

– Батьку это правда, что трудно, а только... чего ж нам расходиться? Тогда еще труднее будет.

Вероятно, мое лицо в этот момент приобрело какое-то особенно глупое выражение, потому что Ванька весело расхохотался, даже его босые ноги насмешливо подпрыгнули на травке:

– Вы думаете что? Вы думаете, батько для чего меня к дяде отправил? Думаете, чтобы нас меньше осталось? Н-нет! Батько у нас такой хитрый... прямо, как тот... как муха! Это он хотел, чтобы мне лучше было! Видите, какой он!

– И тебе было бы легче, и ему было бы легче, – настаивал я на своем.

– Н-нет, – продолжал Ваня по-прежнему весело. – Разве ему один человек – что? Ему ничего. А теперь я в ФЗУ двадцать восемь рублей зарабатываю, видите? Это он для меня хотел.

– А ты отказался от лучшего?

– Да чего там лучшего? – сказал Ваня уже серьезно. – Это разве хорошо, батька бросать? Хорошо, да? А там ничего лучшего, а все хуже. Только там едят, ну, и все. А у нас дома лучше. Как сядут, во! Весело! И батько у нас веселый, и мать! У нас, конечно, нет балыка. А вы думаете, балык вкусный?

– Вкусный.

– Ой, какой там вкусный! Гадость! А картошка с грибами, вы думаете, как? Целый чугунок! А батько еще и приговаривает что-нибудь. И пацаны у нас хорошие, и девчата. Чего я там не видел?

Так я ничего и не выяснил в этом разговоре. Ваня не признавал никакой гордости, а уверял меня, что дома лучше. Когда мы прощались, он сказал мне ласково и в то же время как-то особенно задорно:

– А вы приходите сегодня к нам ужинать. Картошку с грибами. Вы думаете, не хватит? Ого! Вы приходите.

– А что же, и приду!

– Честное слово, приходите! В семь часов. Хорошо?

В семь часов я отправился к Веткиным. На веранде сидел у стола Степан Денисович и читал газету. У летней кухни, построенной в сторонке, хозяйничали Анна Семеновна и Оксана. Оксана глянула на меня, не отрывая рук от сковородки, и ласково улыбнулась, сказав что-то матери. Анна Семеновна оглянулась, подхватила фартук, завертела им вокруг пальцев и пошла мне навстречу:

– Вот как хорошо, что пришли! Ванька говорил, что придете. Степан, ну, принимай же гостя, довольно тебе политикой заниматься.

Степан Денисович снял очки и положил их на газету. Потом ухватил бороду и засосал губами, но это была озабоченность гостеприимная и чуточку ироническая. В дверях хаты стоял Ванька старший, ухватился обеими руками за притолоку и улыбнулся. Под одной его рукой прошмыгнул в хату Васька, а из-под другой руки, опершись на колени ручонками, выглядывала румяная Маруся и щурила на меня глазенки.

Через пять минут мы расположились за большим столом на лавках. На столе не было скатерти, но стол блестел чистотой натурального дерева. Залезая за стол, я не мог удержаться и любовно провел рукой по его приятной белизне. Степан Денисович заметил это движение и сказал?

– Вам нравится? Я тоже люблю некрашенный стол. Это настоящее дело, природное, тут никого нельзя надуть. А скатерть, бывает и так, нарочно покупают серенькую, чтобы не видно было, если припачкается. А здесь чистота без всяких разговоров.

Дома Степан Денисович был новый, более уверенный и веселый, лицо у него вольнее играло мускулами, и он почти не сосал свой таинственный леденец. Возле печи, занавешенной белой занавеской, стояли Ванька старший, Витька, Семен и Ванюшка – вся первая бригада – и, улыбаясь, слушали отца.

В комнату шумно влетела семилетняя Люба – самая смуглая из Веткиных, у нее лицо почти оливкового оттенка. В отличие от прочих ее шея украшена ожерельем из красных ягод растения, называемого в наших местах глодом. Люба вскрикнула:

– Ой, опоздала, опоздала! Ванюшка, давай!

Кареглазый, суровый Ванюшка присел у нижней полки шкафика и размеренно начал подавать Любе сначала корзину с нарезанным хлебом, потом глубокие тарелки, потом несколько ножей, две солонки и алюминиевые чайные ложки. Сестра отвечала неприступному спокойствию Ванюшки самым горячим движением вокруг стола, отчего по комнате прошел какой-то особенно милый и теплый ветерок.

Пока Люба и Ванюшка накрывали на стол, Ванька старший и Витька вытащили из-под спального помоста два маленьких «козлика» и уложили на них широкую доску, такую же чистую, как и стол. Рядом с помостом, таким образом, протянулся длинный походный столик, и на нем немедленно стали тарелки, принесенные бурным вихрем оливковой Любы. Не успел я оглянуться, как за этим столиком собралась компания: Маруся, Вера, Гриша, Катя и Петька – вся семейная «мелочь» в полном составе. Каждый из них приволок с собой и мебель. Маруся выкатила из-под помоста круглый чурбачок. Близнецы Катя и Петька, кажется, пришли из другой комнаты. Они вошли серьезные и даже озабоченные, и оба прижимали к сиделищным местам крошечные сосновые табуреточки. Эти явились в совершенно оборудованном состоянии. Так, не отрывая от собственных тел табуреточек, они и протискались за импровизированный стол и, как только уселись, затихли в серьезном ожидании.

Четырехлетняя Вера, напротив, отличалась веселым характером. Она была очень похожа на Марусю, такая же краснощекая и живая, только у Маруси уже отросли косы, а Вера стрижена под машинку, она, как только уселась за стол, ухватила алюминиевую ложку и о чем-то заgrimасничала, ни к кому, впрочем, не обращаясь, просто в яркое, летнее, солнечное окно, а ложкой застучала по столу. Ванюшка от шкафика оглянулся на нее и сердито нахмурил брови, намекая на ложку. Вера заgrimасничала на Ванюшку, лукаво заиграла щечками и высоко замахнулась ложкой, угрожая с треском опустить ее на тарелку. У нее готов был сорваться закатистый громкий смех, но Ванькин старший поймал ее ручонку вместе с ложкой. Вера подняла на него прекрасные большие глаза и улыбнулась нежно и трогательно. Ванька, не выпуская ее руки, что-то зашептал ей, наклонившись, и Вера слушала его внимательно, скосив глазки, и шептала тем срывающимся на звон шепотом, который бывает только у четырехлетних:

– Ага... ага... не буду... не буду...

Я залюбовался этой игрой и пропустил самый торжественный момент: и на нашем столе и на примостке «мелочи» появились чугунок с картофелем у нас побольше, у «мелочи» поменьше, а Анна Семеновна уже была не в темном кухонном фартуке, а в свежем, ярком, розовом. Оксана и Семен принесли две глубокие миски с жареными грибами и поставили их на стол. Семья спокойно рассаживалась. К моему удивлению, Ванька старший уселся не за нашим столом, а за примостком, с узкого конца, рядом с Марусей. Он весело нахмурил лицо и приподнял крышку над чугуном. Из чугунок повалил густой, ароматный пар. Маруся надула щечки, заглянула в чугунок, радостно обожглась горячим его дыханием и неожиданно громко запела и захопала в ладошки, оглядывая всю свою компанию:

– Картошка в одежке! Картошка в одежке!

Наш стол сочувственно оглянулся на малышей, но они на нас не обратили внимания. Вера тоже захлопала и тоже запела, хотя она картошки еще и не видала. Катя и Петька по-прежнему сидели серьезные и недоступные никаким соблазнам мира, на чугунок даже не посмотрели.

Степан Денисович сказал:

– У Веры будет контральто. Слышите, она вторит? Только чуточку дизит, чуточку дизит.

Ванька старший уже накладывал картофель в тарелку Веры и сказал ей с шутливой угрозой:

– Верка, ты чего дизишь?

Вера прекратила пение и потерялась между картошкой на тарелке и вопросом брата:

– А?

– Дизишь чего?

Вера переспросила:

– Едишь? – но в этот момент картошка уже производила на нее более сильное впечатление, и она забыла о брате.

Анна Семеновна положила на тарелку мне, мужу и себе и передала бразды правления Оксане. Все занялись раздеванием картошки. Но Ванька старший вдруг вскочил из-за приюстка и вскрикнул панически:

– Селедку же забыли!

Все громко засмеялись. Только Степан Денисович укорительно глянул в сторону Ваньки:

– Ах, чудак! Так и ужин мог без селедки пройти.

Ванька выбежал из хаты и возвратился, запыхавшись, держа в обеих руках глубокие тарелки, наполненные нарезанной селедкой, перемешанной с луком.

– Селедка – это его инициатива, – сказал Степан Денисович, – ах, ты чудак, чуть не забыл!

Я тоже улыбнулся забывчивости Ваньки. И вообще мне хотелось улыбаться в этой приятной компании. Мне и раньше случалось бывать в гостях, и не помню случая, чтобы меня принимали вот такой единой семьей. Обыкновенно детей удаляли в какие-то семейные закоулки, и пиршество происходило только между взрослыми. Занимали меня и многие другие детали ужина. Мне очень понравилось, например, что ребята умели в каждый момент объединить и интерес ко мне как к гостю, и интерес к еде, и память о каких-то своих обязанностях, и в то же время не забывали и о собственных мелких делишках. Они радостно блестя глазами и деятельно ориентировались в происходящем за столом, но в интервалах умели вспомнить о таинственных для меня «потусторонних» темах, потому что я ловил ухом такие отрывки?

– Где? На речке?

Или:

– Не «Динамо», а «Металлист»...

Или:

– Володька брешет, он не видел...

Володька упоминался, конечно, чубовский. Существовали какие-то соседние области, на территории которых этот Володька «брехал».

Все эти обстоятельства и занимали меня, и радовали, но одновременно с этими переживаниями я почувствовал самый неприкрашенный, нахальный аппетит: страшно захотелось вдруг картошки с грибами. А здесь еще была и селедка. Она не была уложена в парадной шеренге на узенькой специальной тарелочке, и кружочки лука не обрамляли ее нежным почетным эскортом, вообще в ней не было ничего манерного. Здесь она красовалась в буйном изобилии до самых краев глубокой тарелки с красным ободком. И белые сегменты лука были перемешаны с ней в дружном единении, облитом подсолнечным маслом.

За ужином шел разговор о новой и старой жизни:

– Мы с жинкой и раньше ничего не боялись, – говорил Степан Денисович, – а на самом деле много было таких предметов, что нужно было бояться: во-первых, нужда, во-вторых, урядник, в-третьих, скучная была жизнь. Скучная жизнь для меня самое противное.

– Вы теперь больше веселитесь? – спросил я.

– Смотря как веселиться, – улыбнулся Степан Денисович, заглядывая в чугунок с картошкой. – Вот Оксана поступила на рабфак. Как ни считай, а через восемь лет будет, это легко сказать, инженер-строитель! Моему батьку за шестьдесят лет жизни приснилось, если так посчитать, до двадцати тысяч снов. Ну, и что ему там снилось, всякая ерунда и фантазия. А я гарантирую, не могло ему такое присниться, чтобы его дочка – инженер-строитель! Не могло, даже, допустим, в пьяном виде.

– А тебе снилось? – спросила, стрельнув глазами, Анна Семеновна.

– А что же ты думаешь? Даже вот вчера приснилось, будто Оксана приехала и дает мне подарок, душу, я во сне и не разобрал, какой это мех. Я и говорю ей: для чего мне такая шуба, мне в кузнице в такой шубе неудобно. А она отвечает: это не для кузницы, а поедем на стройку, я, говорит, радиостанцию на Северной Земле строю. И сама она будто в такой громадной шубе, как боярин какой!

Оксана рядом со мной нахмурила умные аккуратные бровки и покраснела не столько от сообщения отца, сколько от всеобщего внимания – всем приятно было посмотреть на будущего строителя радиостанции на Северной Земле. Васька сказал Оксане:

– Оксана! И я с батьком к тебе поеду. Ты мне валенки привези.

За столом засмеялись, и посыпались такие же деловые предложения. Ванька старший спросил, не скрывая улыбки:

– А я тебе снился, батько? Это очень для меня важно!

– И ты снился! – Степан Денисович с шутливой уверенностью мотнул бородой над тарелкой. – Как же, снился, да только нехороший сон. Пошел будто ты в гости к дяде, а тут бегут ко мне люди и кричат: скорее, скорее, у Ваньки вашего живот заболел, яблоко у дяди скушал! Яблоком отравился!

Все закатились смехом, а Витька даже закричал через весь стол:

– И балыком! И балыком каким-то ихним!

Теперь все смотрели счастливыми веселыми глазами на Ваньку, а он стоял у своего при-
мостка и, не смущаясь, тоже смеялся, глядя на отца. И спросил громко-весело:

– Ну и что же? Умер... от отравления?

– Нет, – ответил Веткин. – Не умер. Сбежались люди, карета скорой помощи приехала. Отходили!

Когда картошка со всем штабом была съедена, сам Степан Денисович внес большущий начищенный самовар, и мы приступили к чаепитию. Оно было оборудовано просто и оригинально. На больших блюдах из тонкой лозы принесены были два коржа, диаметром каждый не меньше полуметра. Я и раньше встречал такие коржи, и всегда они потрясали меня своим великолепием. Очень возможно, что они задевали нежные национальные струны моей украинской души. Это были знаменитые «коржи з салом», о которых сказано в народной мудрости: «Навчить біда з салом коржи істи».

Сало вкрапляется в тело коржа редкими кубиками, и вокруг них образуется самое приятное, влажное и солоноватое гнездышко, наткнуться на которое и раскусить составляет истинную сущность гастрономического наслаждения. Верхняя поверхность коржа представляет необозримую равнину, кое-где белого, кое-где розового цвета, а на равнине там и сям разбросаны нежные холмики, сделанные из сухой тонкой корочки. Корж «з салом» нельзя почему-то резать ножом, а нужно разламывать, и его горячие слоистые изломы составляют тоже одну из неповторимых его особенностей.

Семья Веткиных встретила коржи возгласами восхищения. За столом «мелочи» устроена была настоящая орация, даже близнецы Катя и Петька оставили свое стоическое равнодушие и разразились звонкими капельками неуверенного, неопытного смеха.

За нашим столом Семен и Витька, очевидно, не предупрежденные о появлении коржа, удивленно на него воззрились и, как будто сговорившись, закричали вместе:

– У-ю-юй! Ко-орж!

Сам Степан Денисович приветствовал корж сиянием рыжего лица и потирал руки:

– Это и я скажу: достижение! Культура здесь, будем прямо говорить, кулацкая, но съесть его не только можно, но и полезно.

С этого ужина началось мое близкое знакомство с семьей Веткиных. И до самых последних дней я оставался другом этой семьи, хотя, признаюсь, в моей дружбе было немало и утилитарных моментов: многому можно научиться у Веткиных, а самое главное, над многим задуматься.

Семейная педагогика Степана Денисовича, может быть, во многих местах не отличается техническим совершенством, но она трогает самые чувствительные струны советской педагогической мысли: в ней хорошего наполнения коллективный тон, много великолепного творческого оптимизма и есть то чуткое прислушивание к деталям и пустякам, без которого настоящая воспитательная работа совершенно невозможна. Такое прислушивание – дело очень трудное, оно требует не только внимания, но постоянной острожно-терпеливой мысли. Пустяки звучат неуловимо, пустяков этих много, и их звучания перепутываются в сложнейший узел мелких шорохов, шелестов, шумов, еле слышных пискос и звонов. Во всей этой дребедени нужно не только разобраться, но и проектировать из нее важные будущие события, выходящие далеко за пределы семьи.

Да, самодельными способами сбивал Степан Денисович свою семью в коллектив, но сбивал упорно и терпеливо. У него, конечно, были и недостатки, и ошибки. Его детвора, может быть, слишком была упорядочена, спокойна, даже «мелочь» отдавала какой-то солидностью. В нашем детском дворовом обществе дети Веткина выступали всегда как представители мира, они были веселы, оживленны, активны и изобретательны, но решительно избегали ссор и конфликтов.

Один раз на волейбольной площадке Володька Чуб, скуластый огневой пацан лет четырнадцати, отказался смениться с места подавальщика. Его партия не протестовала, так как Володька действительно хорошо подавал. У противной партии капитаном ходил Семен Веткин.

Игра была домашняя, без судьи. Семен задержал мяч в руках и сказал:

– Это неправильно.

Володька закричал:

– Не ваше дело, поставьте и себе постоянного!

Всякий другой мальчик непременно в таком случае устроил бы скандал или бросил игру, ибо никакая Фемида не умеет так точно разобраться в вопросах справедливости, как пацаны. Но Семен, улыбаясь, пустил мяч в игру:

– Пускай! Это они от слабости! Надо же им как-нибудь выиграть.

Володькина партия все-таки проиграла. Тогда раздраженный, горячий Володька приступил к Семену с требованием сатисфакции⁴:

– Бери свои слова обратно! Какая у нас слабость!

Володька держал руки в карманах, выдвинул вперед одно плечо – верный признак агрессии. И Семен, так же, спокойно улыбаясь, дал Володьке полное удовлетворение:

– Беру свои слова обратно! У вас очень сильная команда. Прямо такая!

⁴ Сатисфакция (лат.) – требование согласия на поединок.

Для иллюстрации Семен даже руку поднял к небесам. Володька, гордый моральной победой, сказал:

– То-то ж! Давай еще одну сыграем! Вот посмотришь!

И Семен согласился и на этот раз проиграл, и все-таки ушел с площадки с такой же спокойной улыбкой. Только на прощание сказал Володьке:

– Только я тебе не советую. У нас товарищеский матч, это другое дело. А в серьезной игре судья все равно тебя с поля выведет!

Но Володька сейчас и торжествовал и принял Семеново заявление без запарки:

– Ну, и пусть, а все-таки мы выиграли!

В этом случае, как и во многих других случаях, выступала наружу довольно запутанная борьба педагогических принципов. Отчасти мне даже нравился горячий, «несправедливый» напор Володьки и его страсть к победе, а приправленная юмором уступчивость Семена могла казаться сомнительной. Об этом я прямо сказал Степану Денисовичу и был очень удивлен, услышав от него определенный, точный ответ, доказывающий, что и эта проблема не только занимала его, но и была разрешена до конца.

– Я считаю, что это правильно, – сказал Степан Денисович. – Семен у меня умный, очень правильно поступил.

– Да как же правильно? Володька нахальничал и добился своего. В борьбе так нельзя!

– Ничего не добился. Лишний мяч чепуха. И само собой, у Володьки слабость, а у Семена сила. И большая сила, вы не думайте. Смотря в чем борьба. Тут не одна борьба, а две борьбы. Одна за мяч, а другая поважнее – за людское согласие. Вот вы сами рассказали: не подрались, не поссорились, даже лишнюю игру сыграли. Это очень хорошо.

– А я сомневаюсь, Степан Денисович, все-таки уступчивость...

– Смотря когда, – задумчиво сказал Веткин, – я считаю, теперь нужно отвыкать от разной грызни. Раньше люди, действительно, как звери, жили. Вцепился другому в горло – живешь, выпустил – в тебя вцепятся. Для нас это не годится. Должны быть товарищи. Если товарищ нахальничает, сказать нужно, организация есть для этого. Судьи не было, плохая организация, ну, что же? Из-за этого нечего за горло хватать.

– А если Семену придется с настоящим врагом встретиться?

– Это другое дело. То так и будет: настоящий враг. Будьте уверены, Семен, если придется, а я так полагаю, что должно прийтись, будьте спокойны: и в горло вцепится, и тот... не выпустит!

Я подумал над словами Степана Денисовича, вспомнил лицо Семена, и для меня стало ясно, что в одном Степан Денисович прав: настоящего врага Семен, действительно, не выпустит.

С тех пор прошло много лет. Коллектив Веткиных на моих глазах жил, развивался и богател. Никогда не исчезала у них крепкая связь друг с другом, и никогда не было в этой семье ни растерянных выражений, ни выражений нужды, хотя нужда всегда стучалась в их ворота. Но и нужда постепенно уменьшалась. Вырастали дети и начинали помогать отцу. Сначала они приносили в семейный котел свои рабфаковские, фабзайцевские⁵ стипендии, а потом стали приносить и заработки. Оксана вышла действительно в инженеры-строители, вышли хорошими советскими людьми и другие Веткины.

Веткиных у нас на заводе любили и гордились ими. Степан Денисович имел глубоко общественную натуру, умел отозваться на каждое дело и на каждый вопрос и везде вносил

⁵ Речь идет о стипендиях для учащихся школ фабрично-заводского ученичества.

свою мысль и спокойную улыбающуюся веру. Наша партийная организация с настоящим торжеством приняла его в свои ряды в 1930 г.

Педагогический стиль семьи Веткиных до последних дней оставался предметом моего внимания и изучения, но учились у них и другие. В значительной мере под влиянием Веткиных совершенствовалась и семья Чуба. И сама по себе это была неплохая семья. У Чубов было больше беспорядка, случайности, самотека, многое не доводилось до конца. Но у них было много хорошей советской страсти и какого-то художественного творчества. Сам Чуб в своей семье меньше всего выступал как отец-самодержец. Это был хороший и горячий гражданский характер, поэтому в его семье на каждом шагу возникал жизнерадостный и боевой коллектив.

Чубы несколько завидовали количественному великолепию Веткиных. Когда у Чубов родился седьмой ребенок – сын, сам Чуб бурлил и радовался и устроил пир на весь мир, во время которого в присутствии гостей и потомства говорил такие речи:

– Седьмой сын – это особая статья. Я тоже был седьмым у батька. А бабы мне говорили: седьмой сын – счастливый сын. Если седьмой сын возьмет яйцо-сносок, бывают такие – сноски, да... возьмет и положит под мышку да пронесит сорок дней и сорок ночей, обязательно чертик вылупится, маленький такой – для собственного хозяйства. Что ему ни скажи – сделает. Сколько я этих яиц перепортил, батько даже бил меня за это, а не высидел чертика: до вечера пронесишь, а вечером или выпустишь, или раздавишь. Это дело трудное – своего черта высидеть.

Бухгалтер Пыжов сказал:

– Сколько тысяч лет с этими чертями возились, говорят, к каждому человеку был приставлен, а если так посмотреть, на жизненном балансе слабо отражалось, и производительность у этих чертей была, собственно говоря, заниженная.

Степан Денисович разгладил усы и улыбнулся:

– У тебя, Чуб, и теперь еще чертики водятся. Если поискать где-нибудь под кроватью, – наверное, сидит.

– Не, – засмеялся Чуб, – нету. При Советской власти без надобности. Ну! Выпьем! Догнать и перегнать Веткина!

Мы весело чокнулись, потому что это был не такой плохой тост.

Глава четвертая

Деньги! Изо всех изобретений человечества это изобретение ближе всех стояло к дьяволу. Ни в чем другом не было такого простора для приложения подлости и обмана, и поэтому ни в какой другой области не было такой благодатной почвы для произрастания ханжества.

Казалось бы, в советской действительности для ханжества нет места. Однако его бактерии то там, то сям попадают, мы не имеем права забывать об этом, как нельзя забывать о возбудителях гриппа, малярии, тифа и других подобных гадостях.

Какова формула ханжества? Эгоизм, ценизм, плюс цинизм, плюс водянистая среда идеалистической глупости, плюс нищенская эстетика показного смирения. Ни один из этих элементов не может содержаться в советской жизни. Другое дело там, где и бог и черт вмешиваются в человеческую жизнь и претендуют на руководство. У ханжи в одном кармане деньги, в другом – молитвенник, ханжа служит и богу и черту, обманывает и того, и другого.

В старом мире каждый накопитель не мог не быть ханжой в большей или меньшей степени. Для этого вовсе не нужно было на каждом шагу играть Тартюфа, в последнем счете и для ханжества были найдены приличные формы, очищенные от примитивной позы и комической простоты. Самые матерые эксплуататоры научились пожимать рабочие руки, умели поговорить с пролетариатом о разных делах, похлопать по плечу и пошутить, а навыки благотворительности и меценатства сопровождать солидно-уверенной скромностью и еле заметным покраснением ланит. Получалась в высшей степени милая и привлекательная картина. Не только не спешили славословить господу богу, но даже делали вид, что о господе боге и речи быть не может, вообще не нужно ни благодарности на земле, ни благодарности на небесах. Это была замечательно мудрая политика. Какой-нибудь Тартюф из кожи лез вон, чтобы понравиться господе, его подхалимство было активное, напористое, неудержимое, но именно поэтому от такого Тартюфа за десять километров несло запахом черта, который, между прочим, даже и не прятался, а тут же рядом помещался в старом кресле, курил махорку и, скучая, ожидал своего выхода.

Это была грубейшая форма ханжества, нечто напоминающее по технике паровоз Стефансона. У современных западных ханжей все обставлено с завидной обстоятельностью: никакого господу, никаких святых, но зато и чертом и вообще ничем не пахнет, кроме духов. Любителям этой темы рекомендуем познакомиться с классическим образчиком ханжества – с сочинением Андре Жида: «Путешествие в Конго».

Но вся эта чистота – только эстетическая техника, не больше. Как только редет толпа, как только папаша с мамашей останутся в интимном семейном кругу, как только встанут перед ними вопросы воспитания детей, так немедленно появляются на сцены и оба приятеля: и аккуратный, чисто выбритый, благостный и сияющий бог, и неряшливый, с гнилыми зубами, нахально ухмыляющийся дьявол. Первый приносит «идеалы», у второго в кармане звенят деньги – вещь не менее приятная, чем «идеалы».

Здесь, в семье, где не нужно было никакой «общественной» тактики, где властвовали всемогущие зоологические инстинкты и беспокойство, где на глазах копошились живые, неоспоримые потомки, здесь именно несправедливый, кровожадный и бессовестный строй, отвратительное лицо которого нельзя было прикрыть никаким гримом, выступал почти с хулиганской бесцеремонностью. И его моральные противоречия, его практический деловой цинизм казались оскорбительными для детской ясной сущности.

И поэтому именно здесь, в буржуазной семье, настойчиво старались загнать дьявола в какой-нибудь дальний угол, вместе с его деньгами и другими бесовскими выдумками. Только поэтому в буржуазном обществе старались в тайне хранить финансовые источники семейного богатства, в этом обществе родились потуги отделить детство от денег, именно здесь делались

глупые и безнадежные попытки воспитания «высоконравственной личности» эксплуататора. В этих попытках проекты идеалистического альтруизма, какой-то мифической «доброты» и нестяжания были, в сущности, школой того же утонченного ханжества.

Николай Николаевич Бабич – человек как будто веселый. Он очень часто прибавляет к деловой речи странные и ненужные словечки, которые должны показать его оживление и бодрый характер: «дери его за ногу» или «мать пресвятая благородица». Он любит по случаю вспомнить какой-нибудь анекдот, рассказывает его очень громко и надоедливо. Лицо у него круглое, но в этой округленности нет добродушия, нет мягкости очертаний, его линии мало эластичны и застыли в постоянном мимическом каркасе. Лоб большой, выпуклый, расчерченный правильной штриховкой слишком одинаковых параллельных складок, которые если и приходят в движение, то все вместе, как по команде.

В нашем учреждении Николай Николаевич работал в качестве начальника канцелярии.

Мы с Николаем Николаевичем жили в одном доме, выстроенном на краю города в те времена, когда у нас процветала мода на коттеджи. В нашем коттедже – четыре квартиры, все они принадлежат нашему учреждению. В остальных квартирах жили Никита Константинович Лысенко – главный инженер и Иван Прокофьевич Пыжов – главный бухгалтер: оба старые мои сослуживцы, сохранившиеся в моей судьбе еще с тех времен, когда мы познакомились с Веткиным.

В стенах этого коттеджа протекали наши семейные дела, которые всем нам были взаимно известны. Здесь я окончательно уяснил для себя денежную проблему в семейном коллективе. В области этой проблемы особенно различались мои соседи.

Николай Николаевич Бабич с первых дней нашего знакомства поразил меня добротной хмуростью своей семейной обстановки. В его квартире все опиралось на толстые, малоподвижные ноги; и стол, и стулья, и даже кровати – все было покрыто налетом серьезности и неприветливости. И даже в те моменты, когда хозяин расцветал улыбкой, стены и вещи его квартиры, казалось, еще больше нахмуривали брови и относились с осуждением к самому хозяину. Потому улыбки Николая Николаевича никогда не вызывали оживления у собеседника, да и хозяин об этом не беспокоился.

Как только приходилось ему обратиться к сыну или к дочери, его улыбка исчезала удивительно бесследно, как будто она никогда не существовала, а вместо нее появлялось выражение особого сорта усталой, привычной добродетели.

Дети его были почти погодки, было им от тринадцати до пятнадцати лет. В их лицах начинала показываться такая же круглая и такая же неподвижная твердость, как и у отца.

Мне не так часто приходилось заглядывать к Бабичу, но почти всегда я бывал свидетелем такой беседы:

- Папа, дайте двадцать копеек.
 - Зачем тебе?
 - Тетрадку нужно купить.
 - Какую тетрадку?
 - По арифметике.
 - Разве уже исписалась?
 - Там... на один урок осталось...
 - Я завтра куплю тебе две тетради.
- Или такой беседы:
- Папа, мы пойдем в кино с Надей.
 - Ну, идите.
 - Так деньги!
 - Почему билеты?

- По восемьдесят пять копеек.
- Кажется, по восемьдесят.
- Нет, по восемьдесят пять.

Николай Николаевич подходит к шкафику, достает из кармана ключи, отпирает ящик замка, что-то перебирает и перекладывает, запирает ящик и кладет на стол ровно один рубль семьдесят копеек.

Сын пересчитывает деньги, зажимает их в кулаке, говорит «спасибо» и уходит. Вся эта операция продолжается минуты три, и за это время лицо мальчика успевает постепенно налиться кровью, которая к концу операции захватывает даже кончики ушей. Я заметил, что количество крови находится в обратной пропорции к величине испрашиваемой суммы и достигает максимума, когда сын просит:

- Папа, дайте десять копеек.
- На трамвай?
- На трамвай.

Происходит то же священнодействие у ящика, и на стол выкладывается два пятака. Сын, краснея, зажимает их в кулаке, говорит «спасибо» и уходит.

Однажды сын попросил не десять копеек, а двадцать и объяснил, что вторые десять копеек нужны на трамвай для Нади.

Николай Николаевич двинулся было к шкафику и опустил руку в карман за ключами, но вдруг остановился и обратился к сыну:

- Нехорошо, Толя, что ты за сестру просишь. Имеет же она язык?
- У Толи прилив крови достиг предела раньше конца операции.
- Она уроки учит.

– Нет, Толя, это плохо. Нужны ей деньги, можно сказать. А то выходит, ты какой-то кассир. К чему это? Может, тебе кошелек купить, будешь деньги держать? Это никуда не годится. Другое дело: будешь зарабатывать. Вот тебе десять копеек, а Надя и сама может сказать.

Через пять минут Надя стала на пороге комнаты, и уши у нее уже пламенели до отказа. Она не сразу выговорила ходатайство, а сначала соорудила довольно неудачную улыбку. Николай Николаевич с укором посмотрел на нее, и улыбка моментально трансформировалась в дополнительную порцию смущения: у Нади даже и глаза покраснели.

- Папа, дайте на трамвай.

Николай Николаевич не задал никаких вопросов. Я ожидал, что он вынет из кармана заранее заготовленные десять копеек и отдаст Наде. Нет, он снова направился к шкафику, снова достал из кармана ключи и так далее. Надя взяла на столе десять копеек, прошептала «спасибо» и вышла.

Николай Николаевич проводил ее скучным добродетельным взглядом, подождал, пока закроется дверь, и просиял:

– Только уже разболелся где-то, едят его мухи! Еще бы, товарищи все! Да и соседи. У Лысенко, знаете, какие порядки? Мать честная, пресвятая богородица! У них дети до того развратились, спасите мою душу! А у Пыжова так просто руками разведешь – все мудрит Иван Прокофьевич, дуй его в хвост и в гриву! Понимаете, детей невозможно воспитывать – примерчики, примерчики, прямо хоть караул кричи! Но дочка у меня скромница, видели? Куда тебе! Калина-малина, красная смородина! Эта нет, это нетронутая душа! Конечно, вырастет, ничего не поделаешь, но чистота душевная должна с детства закладываться. А то безобразия кругом: на улице, везде ходят эти мальчишки, деньгами в карманах звенят. Родители все, души из них вон!

Главный инженер Никита Константинович Лысенко имел добродушное лицо. Он был высок и суховат, но на лице его была организована диктатура добродушия, которое настолько привыкло жить на этом лице, что даже в моменты катастрофических прорывов на нашем заводе не покидало насиженного места и только наблюдало за тем, как все остальные силы души тушили опасный пожар.

У Никиты Константиновича порядки диаметрально противоположные порядкам Бабица. Сначала я думал, что они были заведены персонально самим добродушием Никиты Константиновича, без участия его воли и без потуг на теоретическое творчество, но потом увидел свою ошибку. Правда, добродушие тоже принимало какое-то участие, не столько, впрочем, активное, сколько пассивное, – в виде некоторого молчаливого одобрения, а может быть, и умиления.

Но главным педагогическим творцом в семье Лысенко была мать, Евдокия Ивановна, женщина начитанная и энергичная. Евдокию Ивановну очень редко можно было увидеть без книжки в руках, вся ее жизнь была принесена в жертву чтению, но это вовсе не была пустая и бесплодная страсть. К сожалению, она читала все какие-то старые книги с пожелтевшей бумагой, в шершавых переплетах; любимым ее автором был Шеллер-Михайлов⁶. Если бы она читала новые книги, из нее, может быть, и вышла бы хорошая советская женщина. А теперь это была просто мыслящая дама, довольно неряшливая, с целым ассортиментом идеалов, материалом для которых послужили исключительно различные виды «добра».

Нужно признать, что советский гражданин несколько отвык от этой штуки, а наша молодежь, наверное, и вовсе о нем не слышала.

В дни нашей молодости нас призывали к добру батюшки, о добре писали философы, Владимир Соловьев⁷ посвятил добру толстую книгу. Несмотря на такое внимание к этой теме, добро не успело сделаться привычным для людей, обыденным предметом и, собственно говоря, было только помехой и хорошей работе, и хорошему настроению. Там, где добро осеняло мир своими мягкими крыльями, потухали улыбки, умирала энергия, останавливалась борьба, и у всех начинало сосать под ложечкой, а лица принимали скучно-кислое выражение. В мире наступал беспорядок.

Такой же беспорядок был и в семье Лысенко. Евдокия Ивановна не замечала его, ибо по странному недоразумению, ни порядок, ни беспорядок не значились в номенклатуре добра, ни в номенклатуре зла.

Евдокия Ивановна строго следовала официальному списку добродетелей и интересовалась другими вопросами:

– Митя, лгать нехорошо! Ты должен всегда говорить правду. Человек, который лжет, не имеет в своей душе ничего святого. Правда дороже всего на свете, а ты рассказал Пыжовым, что у нас серебряный чайник, когда он не серебряный, а никелированный.

Веснушчатый и безбровый, с большими розовыми ушами, Митя дует на чай в блюдечке и не спешит реагировать на поучение матери. Только опорожнив блюдечко, он говорит:

– Ты всегда прибавляешь, мама. В принципе я не говорил, что он серебряный, а вовсе что он серебряного цвета. А Павлушка Пыжов говорит, что не бывает серебряного цвета. А я сказал: а какой бывает? А он говорит: вовсе никелированный цвет. Он ничего не понимает: никелированный цвет! Это чайник никелированный, а цвет серебряный вовсе.

Мать, скучая, слушает Митю. В игре серебряных и никелированных цветов она не находит никаких признаков моральной проблемы. Митя вообще странный: где у него начало добра, где начало зла, невозможно разобрать. Еще вчера вечером она говорила мужу:

– Теперь дети растут какие-то аморальные!

⁶ Шеллер-Михайлов А.К. (псевд. Михайлов, 1838–1900) – русский писатель-романист.

⁷ Соловьев В.С. (1853–1900) – русский религиозный философ, публицист, критик. Поэт.

Сейчас она присматривается к детям. Старший, Константин, ученик десятого класса, имеет очень приличный вид. Он в сером коротком пиджачке и галстук, аккуратен, молчалив и солиден. В семейных разговорах Константин никогда не принимает участия, у него имеются свои дела, свои взгляды, но о них он не находит нужным сообщать другим.

Мите двенадцать лет. Из всех членов семьи Лысенко он кажется наиболее беспринципным, может быть, потому, что очень болтлив и в болтовне высказывает в самом деле аморальную свободу. Недавно Евдокия Ивановна хотела побудить сына на доброе дело: навестить больного дядю, ее брата. Но Митя сказал, улыбаясь:

– Мама, ты посуди, какой толк от этого? Дяде пятьдесят лет, и потом у него рак. С такой болезнью и доктор ничего не сделает, а я не доктор. Он все равно умрет, и не нужно вмешиваться.

Лена еще маленькая, только через год ей идти в школу. Она похожа на отца в обилии ленивого равнодушия, щедро написанного на ее физиономии. Именно поэтому мать ожидает, что в будущем Лена будет более активной представительницей идеи добра, чем мальчишки.

Лена оставила стакан и побрела по комнате. Мать проводила ее любовным взглядом и обратилась к книжке.

Комната у Лысенко до отказа заставлена пыльными вещами, завалена старыми газетами, книгами, засохшими цветами, ненужной, изломанной и тоже пыльной мелочью: кувшинами и кувшинчиками, мраморными и фарфоровыми собачками, обезьянами, пастушками, пепельницами и тарелочками.

Лена остановилась у буфетного шкафа и, поднявшись на цыпочки, заглянула в открытый ящик:

– А где подевались деньги? – пропела она, оборачивая к матери чуть-чуть оживившееся лицо.

Митя с грохотом отбросил стул и ринулся к ящику. Он зашарил рукой в сложном хламе его содержимого, нырнул туда другой рукой, сердито оглядел Лену и тоже обернулся к матери:

– Ты уже все деньги потратила? Да? А если мне нужно на экскурсию?

У матери перед глазами томик Григоровича⁸ и судьба Антона-горемыки. Она не сразу понимает, чего от нее хотят:

– На экскурсию? Ну, возьми, чего ты кричишь?

– Так нету! – орет Митя и показывает рукой на ящик.

– Митя, нехорошо так кричать...

– А если мне нужно на экскурсию?!

Евдокия Ивановна тупо смотрит на возбужденное лицо Мити и, наконец, соображает:

– Нету? Не может быть! Неужели Аннушка истратила? А ты спроси у Аннушки.

Митя бросается на кухню. Лена стоит у открытого ящика и о чем-то мечтает. Мать перелистывает страницу «Антон-горемыки». Из кухни вбегают Митя и панически вопит:

– Она говорит, оставалось тридцать рублей! А нету!

Евдокия Ивановна за столом, заваленным остатками завтрака, живет еще в третьей четверти девятнадцатого века. Ей не хочется прерывать приятную историю страданий и перескакивать на полвека вперед, ей не хочется переключаться на вопрос о тридцати рублях. И ей повезло сегодня. Серьезный, недоступный Константин говорит холодно:

– Чего ты крик поднял? Тридцать рублей я взял, мне нужно.

– И ничего не оставил. Это, по-твоему, правильно?! – протягивает к нему горячее лицо Митя.

Константин ничего не отвечает. Он подходит к своему столику и начинает заниматься своими делами. Как ни возмущен Митя, он не может не любоваться уверенной грацией стар-

⁸ Григорович Д.В. (1822–1899\1900) – русский писатель, автор повести «Антон Горемыка» (1847).

шего брата. Митя знает, что у Константина есть большой бумажник из коричневой кожи и в этом бумажнике протекает таинственная для Мити интересная жизнь: в бумажнике есть деньги и какие-то записки, и билеты в театр. Константин никогда не говорит о солидных тайнах этого бумажника, но Мите случается наблюдать, как старший брат наводит в нем порядок.

Митя отрывается от этого соблазнительного образа и печально вспоминает:

– А если мне нужно на экскурсию?

Ему никто не отвечает. Лена у спинки кровати раскрыла мамину сумку. На дне сумки лежат два рубля и мелочь. Лене немного нужно: в детском саду ничего нельзя купить, но на углу улицы продают эскимо, это стоит ровно пятьдесят копеек. Закусив нижнюю губу, Лена выбирает мелочь. Финансовый кризису нее разрешен до конца, теперь ей не о чем говорить со взрослыми, и только что пролетевший скандал Лена уже не вспоминает. На ее ладони лежат три двухгривенных. Но вдруг и это благополучие летит в бездну. Нахальная рука Мити молниеносно цапнула с руки Лены серебро. Лена подняла глаза, протянула к Мите пустую ладошку и сказала спокойно-безмятежно:

– Там еще есть. Это на эскимо.

Митя заглянул в сумочку и швырнул на кровать мелочь. Лена, не торопясь, собрала деньги с оранжевого одеяла и прошла мимо матери в переднюю. Митя также не поделился с матерью своей удачей и даже не закрыл сумочку. Все стало на место, и комната затихла в пыльном своем беспорядке. На неубранном столе завтракают мухи. Константин ушел последним, аккуратно щелкнув замком в своем ящике. Евдокия Ивановна, не отрываясь от страницы, перешла на диван, заваленный подушками.

Поздно вечером Никита Константинович тоже посмотрел в буфетный ящик, подумал над ним, оглянулся и сказал:

– Слушай, Дуся, денег уже нет?.. А до полочки еще пять дней? Как же?..

– Деньги дети взяли... им нужно было.

Никита Константинович еще подумал над ящиком, потом полез в боковой карман, вытащил потертый бумажник, заглянул в него и остановился перед читающей женой:

– Все-таки, Дуся, надо завести какой-нибудь... учет или еще что-нибудь... такое. Вот теперь пять дней... до полочки.

Евдокия Ивановна подняла на мужа глаза, вооруженные старомодным золотым пенсне:

– Я не понимаю... Какой учет?

– Ну... какой учет... все-таки деньги...

– Ах, Никита, ты говоришь «деньги» таким тоном, как будто это главный принцип. Ну, не хватило денег. Из-за этого не нужно пересматривать принципы.

Никита Константинович снимает пиджак и прикрывает дверь в комнату, в которой спят дети. Жена с настороженным, готовым к бою взглядом следит за ним, но Никита Константинович и не собирается спорить. Он давно исповедует веру в принципы жены, и не принципы его сейчас беспокоят. Его затрудняет задача, где достать денег до полочки.

Евдокия Ивановна все же находит необходимым закрепить моральную сферу мужа:

– Не надо, чтобы дети приучались с этих лет к разным денежным учетам. Довольно и того, что взрослые только и знают, что считают: деньги, деньги, деньги! Наши дети должны воспитываться подальше от таких принципов: деньги! И это хорошо, что наши дети не имеют жадности к деньгам, они очень честные и берут, сколько им нужно. Какой ужас, ты представляешь: в двенадцать лет считать и рассчитывать! Эта меркантильность и так отравила цивилизацию, ты не находишь?

Никита Константинович мало интересуется судьбой цивилизации. Он считает, что его долг заключается в хорошем руководстве советским заводом. Что касается цивилизации, то Никита Константинович способен равнодушно не заметить ее безвременной гибели вследствие отравления меркантильностью. Но он очень любит своих детей, и в словах супруги есть что-то

утешительное и приятное. В самом деле, она права: для чего детям меркантильность? Поэтому Никита Константинович благодушно заснул в атмосфере добра, организованной словами Евдокии Ивановны. Засыпая, он решил попросить завтра пятьдесят рублей займа у главного бухгалтера Пыжова.

Сон уже прикоснулся к Никите Константиновичу, когда в его сознании в последний раз мелькнул жизнерадостный образ Пыжова и где-то в сторонке, в последних остатках яви, блеснула мысль, что Пыжов человек меркантильный и все у него в расчете: и деньги, и дети... и самая жизнерадостность... улыбки тоже... прибыль и убыток улыбок...

Но это уже начинался сон.

Утром Никита Константинович ушел на работу, как всегда, без завтрака. А Евдокия Ивановна через час зашла в комнату детей и сказала:

– Костя, у тебя есть деньги?

Костя повернул к ней на подушке припухшее лицо и деловито спросил:

– Тебе много нужно?

– Да нет... рублей двадцать...

– А когда отдашь?

– В получку... через пять дней...

Костя, приподнявшись на локте, вытащил из брюк новенький бумажник из коричневой кожи и молча протянул матери две десятирублевки.

Мать взяла деньги и только на пороге вздохнула: ей показалось, что у сына начинается нечто напоминающее меркантильность.

Иван Прокофьевич Пыжов отличался непомерной толщиной; по совести говоря, таких толстяков я в своей жизни больше не встречал. Наверное, у него было самое нездоровое ожирение, но Иван Прокофьевич никогда на него не жаловался, вид имел цветущий, был подвижен и неутомим, как юноша. Он редко смеялся, но на его мягкой физиономии столько разложено было радости и хорошего сдержанного юмора, что ему и смеяться было не нужно. Вместо смеха по лицу Ивана Прокофьевича то и дело перебегали с места на место веселые живчики: они рассказывали собеседнику гораздо больше, чем язык Ивана Прокофьевича, хотя и язык у него был довольно выразительный.

У Пыжова была сложная секмя. Кроме него и жены, тонкой большеглазой женщины, она состояла из двух сыновей девяти и четырнадцати лет, племянницы, хорошенькой девушки, высокой и полной, казавшейся гораздо старше своих шестнадцати лет, и приемной дочери, десятилетней Варюши, оставшейся Ивану Прокофьевичу в наследство от друга.

Была еще и бабушка, существо полуразрушенное, но обладающее замечательно веселым нравом, хлопотунья и мастерица на прибаутки.

У Пыжовых всегда было весело. За двенадцать лет моего знакомства с ними я не помню такого дня, чтобы у них не звучал смех, не искрились шутки. Они все любили подшутить друг над другом, умели стремиться к шутке активно, искать ее, и часто у них бывало такое выражение, как будто каждый из них сидел в засаде и коварно поджидал, какая еще неприятность случится с соседом, чтобы порадоваться вволю. Такой обычай должен был бы привести ко всеобщей злостности и раздражению, однако этого у них и в помине не было. Напротив, такое «коварство» как бы нарочно было придумано, чтобы в зародыше уничтожить разные неприятности и жизненные горести. Может быть, поэтому в их семье никогда не было горя и слез, ссор и конфликтов, пониженного тона и упадочных настроений. В этом отношении они сильно напоминали семью Веткиных, но у тех было меньше открытой радости, смеха, веселой каверзы.

Пыжовы почти не болели. Я помню только один случай, когда сам Иван Прокофьевич слег в гриппе. Мне сообщил об этом старший мальчик Павлуша. Он влетел ко мне оживленный

и сияющий, направил на меня ироническую улыбку, а всевидящий глаз на группку деталей на столе.

– Отец у нас сегодня подкачал! Грипп! Доктора звали! Лежит и коньяк пьет! А на работе не может прийти и вам сказать... Видите? А говорил: я никогда не болею. Это он просто задался!

– Это доктор сказал, что у него грипп?

– Доктор. Грипп, это не опасно, правда? Подкачал. Вы не зайдете?

Иван Прокофьевич лежал на кровати, а на столике рядом стояла бутылка коньяка и несколько рюмок. В дверях спальни, прислонившись к дверной раме, стояли младший Севка и Варюша и бросали на отца вредные взгляды. Видно было, что Иван Прокофьевич только что удачно отразил какое-то нападение этой пары, потому что живчики на его лице бегали с торжествующим видом, а губы были поджаты в довольной гримасе.

Увидев меня, Севка подпрыгнул и громко засмеялся:

– Он говорит, что коньяк – это лекарство. А доктор пил, пил, а потом говорит: ну вас к черту, напоили! Разве такое бывает лекарство?

Варюша, покачивая половинку белой двери, сказала с самой въедливой тихонькой иронией:

– Он говорил, кто первый заболел – пустяковый человек! А теперь взял и заболел...

Иван Прокофьевич презрительно прищурился на Варюшу:

– Бесстыдница! Кто заболел первый? Я?

– А кто?

– Пустяковый человек – это Варюша Пыжова...

Пыжов скорчил жалобную рожу и пропел из «Князя Игоря»:

Ох, мои багюшки,

Ох, мои матушки!

Варюша смотрела на него удивленно:

– Когда? Когда? А когда я так пела?

– А когда у тебя живот болел?

Пыжов схватился за живот и закачал головой. Варюша громко засмеялась и в отчаянии бросилась на диван. Пыжов улыбнулся, довольный победой, взял в руки бутылку и обратился ко мне с просьбой:

– Уберите куда-нибудь этого несчастного мальчишку. Он привык касторкой лечиться и меня подбивает.

Сева даже ахнул от неожиданности удара и открыл рот, не находя ничего для ответа.

Пыжов растянулся в улыбке:

– Ага!

Потом предложил:

– Выпьете рюмочку?

– Я удивился:

– Вы больны? Или шутите? Почему пить?

– Ну, а как же! Вы подумайте: восемь лет не болел. До того приятно, как будто годовой отчет сдал. И коньяк можно пить, и книги читать, лежишь, все тебе подносят, люди приходят. Праздник! Хотите рюмочку?

Откуда-то вползла бабушка и хлопотала вокруг больного, приговаривая:

– Где это такое видать, летом болеть? Летом и нищий со светом, а зимою и царь с потьмою. Придумали гриппы какие-то. Почему у нас таких болезней не было? Осенью, бывало, – простуда, лихорадка, прострел. Правда, и те болезни водкой лечили, мой отец дру-

гих лекарств и не видел. И в середину нальет и снаружи натрет, больной не больной, а видно, что хмельной.

Сева и Варюша сидели теперь на диване и любовно-иронически следили за веселой бабушкой. Из кухни пришла красавица Феня – племянница, заложила руки назад, покачала русой головой и улыбнулась ясными серыми глазами:

– Разве это лекарство и здоровым помогает?

В наших руках ей молча ответили рюмки с золотым напитком. Иван Прокофьевич склонил голову набок:

– Феничка, умница моя, скажи еще что-нибудь такое же остроумное!

Феня покраснела, попыталась сохранить улыбку, но ничего не вышло, пришлось ей убежать в кухню. Зрители на диване что-то закричали и замахали руками.

Закончив такие выражения торжества, Сева сказал мне оживленно:

– Сегодня он всех бьет, потому больной. А когда здоровый, нет, тогда ему никто не спустит!

Сева, показывая зубы, затормозил улыбку в самом ее разгоне и воззрился на отца, интересуясь произведенным впечатлением.

Отец сощурил глаза и зачесал шею пятерней:

– Ишь? Ну, что ты ему скажешь? Это он, называется, больному спускает. Конечно, больной, а то поймал бы его за ногу...

В этой веселой семье тем не менее была самая строгая дисциплина. Пыжовы обладали редким искусством сделать дисциплину приятной и жизнерадостной шуткой, нимало не уменьшая ее суровой обязательности. В живых лицах ребят я всегда читал и внимательную готовность к действию, и чуткую ориентировку по сторонам, без чего дисциплина вообще невозможна.

В особенности привлекала меня финансовая организация пыжовской семьи. Она имела вид законченной системы, давно проверенной на опыте и украшенной старыми привычными традициями.

Иван Прокофьевич отклонял от себя честь автора этой системы. Он говорил:

– Ничего я не придумывал! Семья – это дело и хозяйство, разумеется. Деньги поступают и расходуются, это не я придумал. А раз деньги – должен быть порядок. Деньги тратить в беспорядке можно, только если ты их украл. А раз есть дебет и кредит, значит, есть и порядок. Чего тут придумывать? А кроме того, такое обстоятельство: дети. А когда же их учить? Теперь самое и учить.

Больше всего удивляло меня то обстоятельство, что Иван Прокофьевич не завел у себя никакой бухгалтерии. Он ничего не записывал и детей к этому не приучал. По его словам, в семье это лишнее:

– Запись нужна для контроля. А нас семь человек, сами себе и контроль. А приучи к записи, бюрократами и вырастут, тоже опасность. Вы знаете, из нашего брата, бухгалтера, больше всего бюрократов выходит. Работа такая, ну ее!

Веселый глаз Ивана Прокофьевича умел видеть все подробности финансовых операций членов семьи, не прибегая к бухгалтерским записям.

Иван Прокофьевич выдавал карманные деньги накануне выходного дня в довольно торжественной обстановке. В этот день после обеда из-за стола не расходились. Феня убирала посуду и сама присаживалась рядом с Иваном Прокофьевичем. Иван Прокофьевич раскладывал на столе бумажник и спрашивал:

– Ну, Севка, хватило тебе на неделю?

У Севки в руках измазанный кошелек, сделанный из бумаги. В кошельке множество отделений, и в развернутом виде он похож на ряд ковшей в землечерпалке. Севка встряхивает эти ковши над столом, из них пятают двугривенный и пятак.

– Вот, еще и осталось, – говорит Севка, – двадцать пять копеек.

Варюша свой кошелек, такой же сложный и хитрый, держит в металлической коробочке из-под монпансье, кошелек у нее чистенький, незапятнанный. На его подозрительную полноту иронически косится Севка:

– Варюшка опять деньги посолила.

– Опять посолила? – расширяет глаза Иван Прокофьевич. – Ужас! Чем это может кончиться? Сколько у тебя денег?

– Денег? – Варюша серьезно рассматривает внутренность кошелька. – Вот это рубль и это рубль... и это... тоже рубль.

Она безгрешным, ясным взглядом смотрит на Ивана Прокофьевича и раскладывает рядом с кошельком несколько монет и два новеньких рубля.

– Ой-ой-ой, – подымается на стуле Сева.

Старшие наблюдают отчетную кампанию с дружеской симпатией, своих кошельков не достают и денег не показывают.

– Это Варюша собирает на курорт, – улыбается Павлуша.

– И не на курорт, а на другое, на другое! На посуду и на столик, и на лампу для куклы.

– Пожалуйста, пожалуйста, – говорит Иван Прокофьевич.

Меня всегда удивляло, что Иван Прокофьевич никогда не спрашивает ребят о произведенных расходах и о расходах предстоящих. Потом я понял, что спрашивать и не нужно, потому что никаких секретов в семье не было.

Иван Прокофьевич вынимает из бумажника серебряную мелочь и передает малышам:

– Вот тебе рубль и тебе рубль. Потеряется, не отвечаю. Проверяйте деньги, не отходя от кассы.

Севка и Варюша аккуратно проверяют деньги. Варюша два раза передвигала гривенники с места на место, лукаво блеснула глазами на Ивана Прокофьевича и засмеялась:

– Ишь ты какой, давай еще один!

– Да не может быть. Там десять.

– Смотри: один, два, три...

Иван Прокофьевич загребает деньги к себе и напористо-быстро считает:

– Один, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять. Что же ты, а?

Смущенная Варюша повыше взбирается на стул и снова начинает одним пальчиком передвигать гривенники. Но Севка громко хохочет:

– Ха! А как он считал? Он неправильно считал. Пять, а потом сразу семь, а нужно шесть.

Иван Прокофьевич говорит серьезно:

– Ну, положим, ты проверь.

Сбив головы в кучу, все начинают снова считать гривенники. Оказывается, что их действительно десять. Иван Прокофьевич хохочет, откидывая массивное тело. Только Феня прикрыла рот и блестит глазами на дядю: она видела, как он метнул из-под бумажника дополнительный гривенник.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.